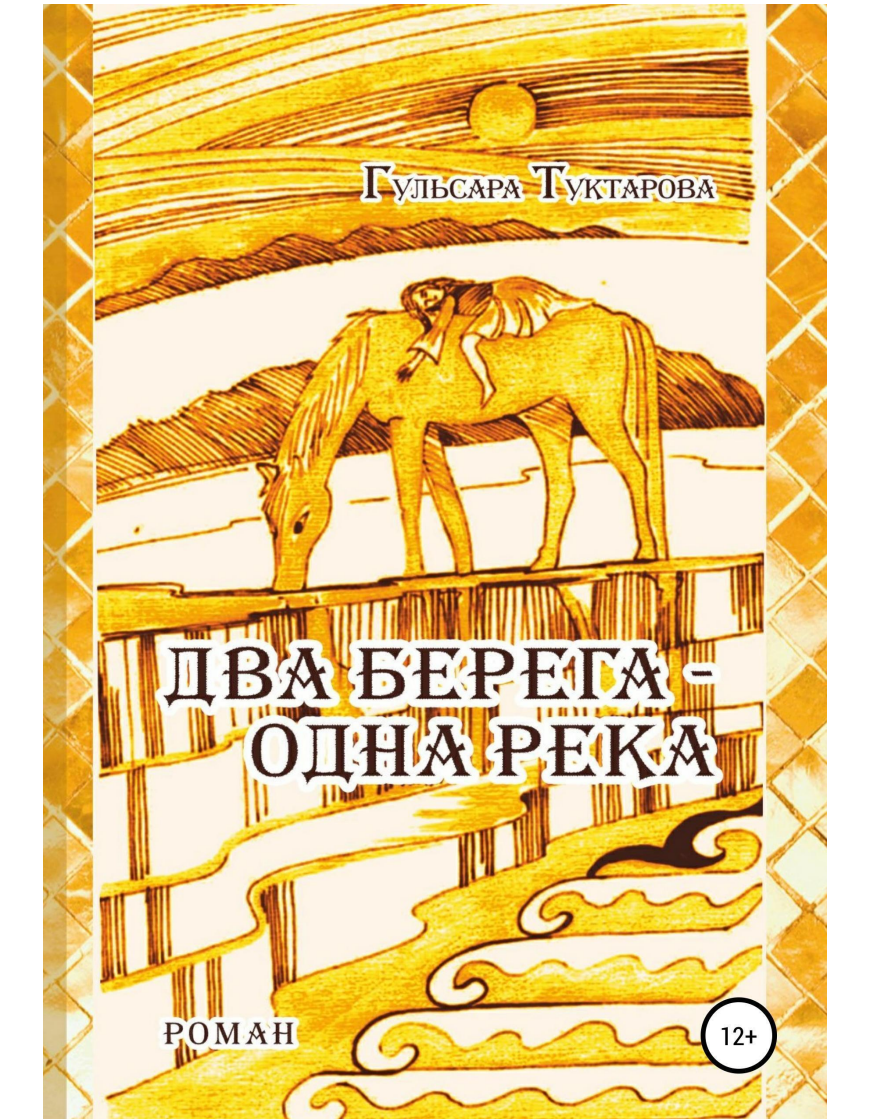




ГУЛЬСАРА ТУКТАРОВА

ДВА БЕРЕГА =
ОДНА РЕКА

РОМАН

12+

Гульсара Туктарова

Два берега - одна река

<https://litres.ru/67238985>

SelfPub; 2024

Аннотация

Книга перенесёт читателя в начало правления Ивана Грозного, познакомит с жизнью, традициями и бытом ногайцев - тюркским народом, которые жили в аулах, и русских, подвергавшихся в то время нападению татаро-монгольского ига. Это книга о жизни ногайской девочки Мариам, волею судьбы попавшей к русским. Не в плен, нет. Русская семья спасла девочку от смерти, приняла как родную дочь, назвала Аней. Со временем, девочка привыкла к жизни в станице, выучила русский язык и нашла друзей. Смогут ли русские до конца принять девочку, чьи сородичи грабят их деревни? Сможет ли ногайская девочка прижиться среди вражеского народа? А если вернётся домой, не захочется ли ей обратно? Это не просто исторический роман. Это книга о жизни, любви и непростом выборе. Очень глубокий роман, который не хочется быстро читать. Хочется размеренно и спокойно наслаждаться замечательным слогом и завораживающим повествованием.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	18
Глава третья	28
Глава четвертая	35
Глава пятая	43
Глава шестая	49
Глава седьмая	53
Глава восьмая	64
Глава девятая	71
Глава десятая	76
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Гульсара Туктарова

Два берега - одна река

Глава первая

Летит и кружится земля, солнце расплывается в зарево, заполняет обжигающим светом пространство, ветер, кажется, сдирает кожу, – до того он горяч и зол, и только ровный цокот копыт, убаюкивая, спасает от кошмара раскалённой степи. Маленькое тельце изо всех сил цепляется за гриву лошади, которая все бежит и бежит...

Но вскоре повеяло прохладой, поток влажного воздуха принял в свои объятия колеблющиеся тени и вернул им прежние очертания... Всадник с трудом разлепил глаза, увидел совсем близко серебристую полоску реки и, в дикой жажде, потянулся к воде. Страшно отпустить руки, оторваться от надёжной опоры, но жажда сильнее, и несчастный со стоном свалился на песчаный берег. Ползком добрался до воды, и, даже не напившись вволю, вдруг застыл в глубоком обмороке, устремив детское лицо к ненасытно горячему небу. А оно свысока обливало ярким светом распластанную на берегу фигурку девочки и, припавшего к воде, белого коня.

Жизнь и смерть склонились над телом, прислушиваясь

к слабому дыханию. «Ты устала, ты очень устала, отдохни, оставь этот зной, я дам тебе прохладу и покой!» – шептала безликая смерть. Но жизнь цепка, она заставляла сквозь туман беспамятства биться жилкам крови, она заполняла бесконечной тоской по родному краткие мгновения пробуждения. Как подгоняет река к берегу волны, так неугомонная жизнь подгоняла к утасажущему сознанию образы и воспоминания. Вот одна тень оказалась живительной – «Анэ!» Тёплые нежные руки обнимают, прижимают к сердцу, сухие губы целуют в закрытые глаза: «Девочка моя! Где ты?». И дрогнуло сердце в ответ, забилося прерывистым током горячей крови... И смерть, стоявшая в ожидании покорной души, равнодушно отвернулась от дыхания и испарилась в знойном мареве. Хватит ей других жертв, сегодня богатая жатва, целое поле неостывших тел ждёт её последнего поцелуя.

«Анэ! Анэ!» – шептала потрескавшимися губами девочка. Прохладная вода омывала её ноги, полоскала подол длинного платья, влажный песок, словно мягкий мендер¹, покоил разбитое тело. Не было сил поднять руки и закрыть лицо от палящего солнца. Сквозь радужные круги перед глазами, словно во сне, стали проплывать лица...

Вот отец, важный, рано поседевший, проходит в главную юрту, а за ним идут странные люди с крашеными бородами и руками. А это сестра, красавица Мадина, низко опустив го-

¹ Мендер – набитый овечьей шерстью небольшой матрас для сиденья

лову, мелко перебирая ногами, плывёт между жён². Косы чёрными змеями бьются по спине, тонкий стан перехвачен узким обхватом каптала³, под ним – богатое платье с длинными широкими рукавами, высокий девичий убор, кажется, сейчас слетит. Сестра никогда не замечает маленькую Мариам, а тут оглянулась и даже улыбнулась.

«Какая она красивая!» – не перестает каждый раз удивляться маленькая сестрёнка. И, вправду, белолицая, большеглазая, с чёрными дугами бровей, с пухлыми яркими губами Мадина очень хороша, особенно, когда улыбается. Говорят, что она в мать, такая же красавица, только слишком гордая. Матери не видно, она редко выходит из белой юрты.

Вот и бабушка в зелёном платье, которое надевается только по праздничным дням, шагает, переваливаясь, между старухами. Мариам подбегает к ней. «Уйди с глаз долой!» – шипит та на внучку. Горькая обида подкатывает к горлу, девочка начинает задыхаться, отбегает в сторону: ей плохо – только на днях она встала с постели, пролежав в болезни почти месяц. Кто-то хватает её за руку и тащит за юрты. Это вторая сестра, Фатима, любимица отца и горе матери. С расстрёпанными косами, с грубыми руками, с вечно оборванным подолом платья, гоняющая на лошадях не хуже любого джигита, сестра не похожа на дочь знатного мурзы⁴ Ногайской

² Дженге – жена старшего брата или старшего родственника

³ Каптал – безрукавка

⁴ Мурза – средний аристократический титул, ниже бия, нурадина

большой орды. Возраст девичий, пора бы замуж выходить, а Фатима носится вдоль аула на коне, громко смеётся, умеет загнать зайца, легко управляется с отарой. Если бы не заступничество отца, то девушку давно бы засадили за прялку. Мариам любит Фатиму: та ей рассказывает смешные сказки, катает на лошади, а один раз взяла её с собой к реке.

– Что, малышка, обижают тебя? Я твоего обидчика на аркане протащу сквозь тургай⁵! – Фатима скалит зубы, изображая злую собаку.

Мариам смеётся, представив грузную бабушку на аркане. Фатима продолжает:

– Сестру замуж отдают, заберут, наконец, от нас! Пусть новые родственники с ней мучаются!

Две старшие сестры не очень ладят, хотя в короткие периоды перемирия нежны меж собой, доверяют друг другу девичьи тайны, любят обсуждать молодых женге и местных джигитов. Но слишком гордый нрав одной и упрямство другой быстро приводят к размолвкам.

– Богатые, из Казани приехали! Ехали через всю степь за головной болью! – В голосе Фатимы слышится досада. Мариам любопытно: радуется сестра или злорадствует.

– Пусть уезжает, она злая, – заискивающе поддакивает младшая сестра, – анэ никогда её не любила!

– Уходи отсюда! Что привязалась ко мне! – вдруг резко отталкивает её Фатима и, рыдая, убегает куда-то.

⁵ Тургай – небольшой кустарник

Бродит с отяжелевшей головой больная девочка среди шумного аула, но никто не обращает на неё внимания. Тогда девочка решается уйти, куда глаза глядят, раз она никому не нужна. «Пусть ищут меня долго-долго, найдут мёртвую, и будут плакать от горя! И анэ пожалеет, что оттолкнула меня! И мама пожалеет, что бросила меня!» ...

Нашли Мариам на второй день поисков у реки. Девочка была жива, но ничего не помнила. Чтобы отвести от себя наказание, нянька заявила, что девочку заманили шайтаны⁶. Хотя никто болтливой старухе не поверил, но осталось за Мариам прозвище, втихомолку произносимое, когда она проходила мимо «Замороченная».

Вдруг Мариам ясно вспоминает начало этой истории: отец стоит на коленях перед бабушкой. Девочка сидит в углу за сундуками, где её никто не видит,

– Матушка, не обижайте сватов, умоляю, выйдите к людям!

– Ты умеешь кланяться врагам! Быстро ты забыл брата! Убийцам отдаешь свою кровь! Пусть собаки грызут таких сватов! Сам женился на приبلудной, так и дочь бросаешь волкам!

– Никто не видел, кто убил Арслана. Сам Исмаил-бий поклялся, что в тот день урусы⁷ напали на брата. Нельзя от-

⁶ Шайтан – злой дух, способный принять облик человека, враждебный Аллаху и людям

⁷ Урус – русский

казывать Али-Акраму, вокруг вражда и война, сотрут нас и развеют по степи, как пепел!

– Вот как заговорил! Урусы! Все списываете на урусов! А почему твой Исмаил-бий с ними дружит? Сплавили тебе полукровку, связали по рукам, вот ты и поёшь чужие песни! Сидит чертовка в юрте, глаз не кажет к дочери! Вот умрёт ребёнок, даже на похороны не придёт! – застарелая ненависть кипит в гневных словах старой женщины.

– Матушка! Галимэ полна уважения к Вам!

– Полна уважения! А почему жениться тебе не дает? Разве плоха дочь Нурсултана, красавица?! А Нуржан, дочь почтенного Сабита, говорят, красавица и рукодельница! Не полукровки! И сыновей бы тебе понарожали, не как эта бездушная! Что скажешь? Мать не права? Где твой сын? Где твои сыновья?!

От каждого слова вздрагивает согнутая спина отца. Он крепко сжимает в руках борьк⁸. Мариам никогда не увидела отца таким униженным, ей хочется обнять его и утешить.

– Это я не хочу жениться, матушка, Галимэ тут не причём. Нам нельзя идти наперекор – сам Али-Акрам просит руки Мадины для сына: она в Казань почти царицей пойдёт, властвовать будет, и нам защита. Ослабели совсем, десять сотен джигитов не наберётся. Не гневайтесь, матушка. Уважьте гостей!

– Значит, очень плохи дела, если ты, сын мой, мурза, кла-

⁸ Борьк – меховая шапка

няешься целый час старухе? Есть новости? – мать протягивает руку к сыну. Тот садится рядом, поднимает голову и смотрит устало на старую властную женщину.

– Урусы строят города, Идиль⁹ заполонили, сгоняют всех. И до нас доберутся. Сил мало, каждый сам по себе. Казань сильна. Можем уйти туда.

– Эх, время, время... Всё бежим и бежим, боимся... А раньше как бывало...

Старуха застывает в молчании. Мариам боится шелохнуться. Наконец, бабушка важно произносит:

– Выйду к гостям, но кланяться не буду. А твоя Мадина пусть помучает Казань, ей и быть царицей, уродилась такая! – и начинает смеяться, отбивая пухлыми ладошками по бокам, – Мадина им покажет, за всех отомстит!

Опять бредит девочка, опять запёкшиеся губы шепчут: «Анэ! Анэ!» И склоняется над ней доброе морщинистое лицо, целует в горячий лоб, гладит по щёкам. «Забери меня, забери, анэ!» – умоляет девочка, но слышит её только белогривый конь, облизывающий свою хозяйку.

– Вот Акбала, твоя лошадка, будешь ездить верхом!

Девочка не верит отцу, она оглядывается на бабушку.

– Дочь мурзы должна уметь ездить на лошади! Это подарок от сватов тебе! – говорит отец.

– Она не кусается? – осмелевшая девочка тянет худенькие ручки к тёплым губам лошади. Её начинает переполнять

⁹ Идиль – Волга

головокружительное счастье, как в моменты встречи с матерью. Девочке легко ладить с умной лошадью. Все давно заметили, что Мариам понимает животных, как будто знает тайный язык. Это великий дар. Все собаки ходят гурьбой за девочкой, а самая бодливая корова обходит её по дороге.

С этого дня начинается другая жизнь, все внимательны к Мариам, она учится ездить на лошади, женге, молодые, смешливые, показывают ей рукоделие, позволяют нянчиться с малышами. Мариам чувствует себя взрослой. Только бабушка ревниво смотрит на новое положение любимицы, ворчит, но не смеет мешать воспитанию.

Широкое смуглое лицо с весёлыми щёлками узких глаз, небольшое крепкое тело, жёсткие горячие руки, – девочка видит сестру, свою защитницу от многих бед. Фатиму никогда не интересовали разговоры и взгляды, она ровно переносила любовь отца, воспитывающего её, как джигита, равнодушные бабушки и вечный страх матери за неё. Подружек у Фатимы не было, девочки её возраста были заняты по хозяйству, они побаивались резкой дочери мурзы. Матери не советовали дружить с ней, втайне осуждая мужские повадки девушки.

Фатиме весело только с Муратом, они вместе учат Мариам верховой езде, скачут наперегонки по степи... Вдруг поползли слухи липкие слухи: кто-то что-то увидел в кустарниках, вольное поведение подростков вызвало толки, и Фатиму отправили к женщинам перебирать шерсть, приставили

следить за ней молодых женщин, говорили, что её отдадут замуж за старика.

Мариам снова впадает в забытие, ей кажется, что бабушка уба юкивает её, качая на подушке. Много лет засыпала малышка рядом с любимой анэ. И опять перед взглядом умирающей девочки проносятся лица. – Где урусы? Они страшные? А можно пойти посмотреть? – страх и любопытство перемешаны в голосе Мариам. Есть в ауле старик Якуб, его называют урусом, но он совсем, как степняк: невысок, узкоглаз, говорит по-ногайски, любит кумыс, живёт с вдовой Ризабека, и его не отличить от аульных. Есть женщина по имени Матке, говорят, что отец её был урусом, она шьёт одежду, живёт без мужа в старой юрте со старухами, она тихая, с добрыми светлыми глазами. – Урусы! Урусы! – кричат и бегают мальчишки, народ толпится у дороги, все волнуются: вернулись с набега джигиты, пригнали скот и пленников.

Идут изнурённые люди в разодранных рубахах, видно, что они голодны. Они совсем нестрашные. «Пить!» Ногайцы, не понимая, молча, смотрят на пленников, только Мариам срысывается с места, бежит к чанам с водой, выхватывает миску и несёт осторожно её с водой обратно, проталкиваясь среди толпы. Синеглазый бородач протягивает руки к Мариам и берётся за посуду, но кто-то из джигитов камчой выбивает миску. Женщины ахают и причитают – сострадание всегда живуче в женском сердце. Мариам наклоняется за посудой и снова бежит за водой, но только на этот раз сама подхо-

дит близко к урусу и подносит ему деревянную выщербленную миску. Второй раз ударить джигит не смеет, все дружно смеются над его нерешительностью. Пленники передают воду друг другу. Они что-то говорят на незнакомом языке девочке, но она вдруг стесняется и прячется за спинами других.

Толпа перешёптывается веселее, женщины перемигиваются друг с другом, во все глаза разглядывая урусов. Появляется отец, властный, резкий, сердитый, сильнее, чем обычно, прихрамывающий на правую ногу. Джигиты всегда своевольничали, мурза смотрел сквозь пальцы на их шалости – степь любит вольницу и молодечество. Но привести без ведома мурзы такую добычу – это неразумно. Обычно воины успевали сплавить пленников в другие аулы или продать по пути купцам, но сегодня они решились заявиться в свой аул с живой добычей. Только позже, из тихих разговоров бабушки с нянькой, Мариам поймёт, почему отец ударил камчой главного джигита. В последнее время ослабевший род старался не ссориться с соседями, чтобы не раздражать Исмаил-бия, который дружил с русскими. Только так мог сохранить миролюбивый отец свой юрт.

Мадины уже нет в ауле, увезли её в куйме¹⁰ в далёкую Казань, но кроме матери и Фатимы, мало кто по ней скучает. Мать стала выходить из юрты чаще, один раз Мариам подошла к ней сама, и женщина зацеловала доченьку, круп-

¹⁰ Куйма – свадебная повозка

ные слёзы катились из тёмных глаз, она прижимала девочку к большому тяжёлому животу. Они никогда не говорили друг с другом, только раз за много дней приводили дочь в белую юрту, а потом уводили назад к бабушке.

Взрослеющая девочка понимала вкрадчивые разговоры, она уже знала, что бабушка выходила её в младенчестве после долгой детской болезни, когда молодая женщина отказалась кормить грудью третью девочку – она ждала мальчика. А потом Аллах наказал мать – все её сыновья умирали сразу. И сейчас, говорят, ждёт сына. «Поэтому она меня обнимает, хочет задобрить Аллаха» – иногда так думала Мариам, не переставая горячо любить родную мать.

Со жгучей злобой шипела бабушка о змее, о нелюбимой невестке, которая отняла мужество у сына. Сын был славный батыр¹¹, его имя гремело по всей степи, он безрассудно кидался во все сражения и проделки, не было счёта победам Бекбулата, пока властвовал его отец Казы-мурза. Вспоминали старые женщины синий дворец, большой город былого великолепия рода канглы¹², когда не было равных им во всей степи. Сколько пленников таскало воду, сколько отар и табунов – не считано – бродили по займищам¹³, сколько тоев¹⁴ устраивали для гостей! И вздумал Юсуф-бий воевать

¹¹ Батыр – герой, доблестный воин

¹² Канглы – одно из ногайских племён

¹³ Займище – заливной или пойменный луг

¹⁴ Той – пир, застолье

с русскими, и других ногайцев подговорил. И полилась жаркая кровь на полынь, оттого она стала горька и седа. Пал в бою глава рода Казы-мурза, дед Мариам, и пришло в упадок его племя. Бросили родное стойбище, синий город, ушли подальше от беды. После смерти отца правил родом старший сын, мурза Арслан. Две жены у него было, две красавицы. Поехал молодой мурза высматривать третью жену, юную дочь родственного племени, уже и имя её забыла старуха, век бы не знать это проклятое имя. Не вернулся её кровинка домой, только пришли к ней другие несчастные матери, чтобы оплакать вместе своих сыновей... Стал главой юрта¹⁵ Бекбулат, остепенился, пора давно брать жену, а там и другую, многие князья не прочь породниться со славным родом. И тут, на беду, подвернулась эта полукровка, эта шлюха... У бабушки всегда меняется голос, когда она говорит о невестке, ни разу не назвала килен¹⁶ по имени, смотреть на неё не может. Посоветовал Исмаил-бий, шутя, мурзе Бекбулату взять в жёны дочь своего сотника, на которую заглядывался его собственный старший сын. Негоже брать князьему сыну дочь незнатного ногайца. И в наложницы нельзя, отец больно свиреп, убьёт, не задумается, за единственную дочь. Посмеялись, но Бекбулат решил посмотреть на такую недоτροгу. Посмотрел, и как заболел. Сколько дней вымаливал он у матери разрешение на женитьбу! Как унижался! Гово-

¹⁵ Юрт – род, владенье рода

¹⁶ Килен – невестка

рила, бери второй женой, не буду противиться, пусть байбише¹⁷ станет девушка знатного рода. Или укради, сделай её наложницей, слова не скажу.

«В каком бреду уступила, сама не помню, видно, шайтан закрутил голову. И что он в ней нашёл? Говорила, прощу, если родит сына! Тут дочь, дочь, дочь! А эту сироту она готова была порвать на куски, еле спасла от смерти! Верблюжонок мой, сердце моё!» – разговор всегда обрывался на нежном вздохе неугомонной души.

И Мариам, падая в сладкую дрему, начинала видеть сказочный синий город: сначала она бродит вокруг блестящей громады лазури, вода капельками обрызгивает её, словно тёплый дождь, рождаясь, как цветок, из-под земли... А потом девочке кажется, что она как птица взлетает над зёмлей, внизу в слабом тумане колышется большой синий город, а вокруг бескрайняя степь, жёлтая-жёлтая...

Куда делись урусы, девочка не знает: всего несколько дней побыли пленники в ауле, сидели под навесом-лапасом из камышитовых плит, пели долгие тоскливые песни. Дети тайком бегали туда, наблюдали за странными людьми. Урусы подзывали детей, улыбались. Светловолосые бородатые люди не были страшными, и поэтому, несмотря на запрещение взрослых, детвора любила смотреть на пленников. Якуб носил им воду и еду, пытался общаться на позабытом языке.

На ночь урусов отправляли в старую юрту, несколько джи-

¹⁷ Байбише – старшая жена

гитов должны были сторожить пленников. «Колодки на ногах мешают спать!» – жалела урусов Мариам. Однажды их увели. Мариам несла горячие просяные лепёшки бабушке и няньке на утренний дастархан¹⁸, но, увидев несчастных людей, девочка рванулась к ним, и, подбежав к синеглазому великану, протянула калакай¹⁹. И опять никто не посмел помешать дочери мурзы. И стояла она у дороги, провожая с горьким состраданием небольшой отряд. А люди в колодках шли по серому песку в неизвестность, оглядывались и видели маленькую фигурку на пригорке.

¹⁸ Дастархан –

¹⁹ Калакай –

Глава вторая

– Живей, братцы! Не поспеем до темноты до урочища! – подгонял гребцов крепкий русобородый молодец, сам усердно налегающий на вёсла.

– Ты, Петро, торопишься, к Марье под юбку? – обернулся к водящему хитроглазый рябой казак, – Она, тоть, без тебя не управится?

Гребцы спрятали усмешку, не желая обижать Петра.

– Хватит, Егор, задираться, бабу мою не трожь, свою посторожи, Маланья-то и при тебе управляется, как хошь!

Тут мужики загоготали, видимо, зная про Егора и Маланью что-то особенное. Егор подскочил с лавки, двинулся было к обидчику, но резкий толчок струга опрокинул его назад на место, да так, что он ударился затылком о весло соседа. Назревала ссора. Артель, уже несколько дней бороздившая Волгу и возвращающаяся домой, уже устала, все были до крайности раздражены неудачным походом.

«Ой, ты волюшка вольная, Волга синяя, Волга синяя да раздольная!» – запел старый дед Алёха, который сидел на носу лодки. Несколько гребцов подхватили песню застуженными голосами. Песня росла, ширилась, тенорком влился слабосильный Егорка, низким басом бубнил его сосед Михаил, ровно вели мелодию братья близнецы, неотличимые молчу-

ны Степан и Семён. Но душой раздольной песни был сильный голос Василия, урядника. Все невольно заслушались и почти перестали грести. Уплыла последняя высокая нота, утонула в чешуе серебристой ряби матушки-Волги, благодарно вдохнувшей от великого дара. На минуту все замерли, именно в эту минуту донеслось до них ржанье лошади.

– Глянь-ка, кто там? Басурмане? – зашептались рыбаки.

Молодой и остроглазый Архип, оберегаемый всеми от тяжёлой работы за умение выглядеть в темноте любую тень, важно сказал:

– Коняга, один, да тряпка на берегу. Татар не видать.

– Видать, не видать... А, неровен час, наскочут из угла?

– Где той угол-то? Степь на три версты! Угол!

Между тем по молчаливому знаку Василия, лодка медленно приближалась к берегу. Конь тоже нажива, если хорош.

– Знатный коняшка! Не дастся, поди.

– Татарская, наши не водят таких.

– А у есаула под седлом кто? Татарский конь!

– Маланья твоя под есаулом, – брякнул кто-то, но никто не обратил внимания на язву, увлекшись находкой, или не желая ещё больше обидеть незадачливого Егорку. Стукнулся о дно вершок.

– Стой, ребята! Вёсла держать, Петро, следи! Веревь не топчи! – распорядился властно Василий. И куда подевался задумчивый певун: глаза сузились, потемнели, коршуном встал на корме, хищный да сильный. На струге урядник от-

вечал за боевой ряд, а Пётр – за рыбный промысел.

– Степа, Михаил, со мной, а вам сидеть, если что, то не ждите.

Не надо много слов знающим своё дело. Прыгнув сразу в воду, споро пошли к берегу. По невидимому знаку разошлись: Василий пошёл к груде тряпья, а другие двинулись к белогривому красавцу, который на удивленье быстро был пойман. Михаил уже вёл за уздцы добычу, когда увидел на руках Василия девочку в длинном светлом платье.

– Тююю, кого споймал, Василь! Кабы осетра, а то девку. Живая?

– Живая! В беспамятстве, кажись...

– И что, на лодку её попрёшь, басурманку?

– А что, бросить живую на смерть? Сердце у тебя есть?

Василий стоял с ношей в руках и думал: «До урочища осталось немного, солнце уже клонится, берег здесь ровный, река глубока до берега, коня можно вести, степь ровная, засады не будет». Приняв решение, он скорым шагом двинулся к стругу. Михаил бросил верёвку через борт, сам забрался быстрым перекидом и, молча, ждал сотоварищей. Следом поднялся медленный Степан. Все обратились к Василию, который протягивал найдёнку гребцам. Никто не откликнулся. Брать басурманку с собой – это немисливо! Дед Алёха двинулся, перешагивая через вытянутые ноги гребцов:

– Убери грабли! Ишь, журавель какой устроился! А у тебя третья нога что ли? Откуда растёт?

Все грохнули от смеха: о мужской силе малорослого Григория слышал каждый.

– Отдай-ка мне девку, какая махонькая да лёгкая, дитё совсем. Как внучка моя, Настёнка, только чернявая, подружка ей будет для игрищ.

Василий поднялся на борт, из-под светлых бровей оглядел товарищей, поди, заглянул каждому не в глаза, а в самую душу.

– Лошадь – артели, девку возьмём с собой, там решим.

Иногда не надо много слов, чтобы убедить в своей правоте, сильнее убеждения – твёрдый голос, властный взгляд. Быстро снялись с берега, ровно забили вёсла. Застывшие от неожиданности ловцы через какое-то время стали тихо переговариваться. Близость дома, тихо надвигающийся вечер расслабляли души, слышались смешки. Смеялись подоброму над смирным Семёном, которого ждала молодая жёнка, над бобылём дедом Алёхой, советуя ему искать счастья у бабки Соловьиhi. Переговариваясь, будто по сговору, не смотрели на лавку, где лежала в забытье обожжённая девочка, но всё же исподлбья замечали золотые мониста на шее, жёлтые браслеты на тонких лодыжках и на запястьях, тяжёлые кольца серёг. Грязное платье было богато – шёлк, поверх что-то вроде душегрейки, красное, бархатно-парчовое, с золотыми застежками. Прикидывали в уме, сколько на ней золота-то, чуть ли не пуд, знать, мурзы какого дочка, беды не оберёшься, коль узнают. Последний поворот, тянет

домашним дымком, длинные тени деревьев касаются весел. Лодка добавила ходу. И откуда только силы взялись!

– Рыбу на столы, к есаулу пойду сам, лишку не болтать, коня к Архиповым!

К Архиповым – это значило, пока скрыть: был у артели дальний сенник для такой добычи. Не впервой приводить коней с рыбалки.

На подходе к селу притормозили, прыгнул в воду Михаил, увёл коня в схоронку, от глаз подальше, мало ль чего, не надо мозолить глаза люду. Вот и долгожданный берег! Все подскочили, споро подхватывая и передавая крупную рыбу встречающим юнцам. Пёстрым кругом толпились бабы, но они не лезли в суматоху, – каждому своё время. Вот пойдёт рыба помельче, та на раздачу, и налетят детвора да бабы, все сметут, потащат по дворам, потрошить да чистить. Только дед Алёха сидел на носу лодки, охраняя живую находку. Но никто не обращал на него внимания. К Василию подошёл Петр:

– Куда девчонку?

Василий был пришлый, служивый, жил сам на постое, ни кола, ни двора. Говорили, что жена его умерла при родах, вот он и ушёл от горя в казаки. Не давали скучать ему местные бабёнки-вдовушки, но ни к одной он не шёл на руки. Куда ему сиротинку девать!

– Бабке Соловьихе отдать, ей все черти нипочём! – брякнул стоявший рядом Егорка.

– Отдай её мне, выхожу, не обижу! – не унимался Петр.

– Выходит он! Марья и тебя пришибёт, и девку пришибёт!

– не унимался Егор. Рыбаки, передав всю рыбу, потихоньку подходили к вожатому. Никто не спешил домой. Не в лодке, можно и слово своё сказать.

– Богатого дочка, мурзы али хана: сколько на ей побрякушек! Искать будет...

– Мы ж спасли дочку, не накинется.

– А вдруг помрёт да узнается дело?

– Да нет уж татар в околотке, погнали за Увек, отбилась малая.

– Марья обрадуется дочке, а Петру достанется!

Время было беспокойное, татары налетали тучей ниоткуда, также убегали, прихватив добро людское и пленников. Сколько же сгинуло людей! Оставить при селе басурманку – залезть в петлю.

– Отдай! Помрёт, хуже будет! Живая душа, поди! – взмолился Петр.

– Бери покуда, да не жалуйся после. Ежель порешим отправить куда, не противься! Дед Алёха! Отдай ребёнка!

Когда Василий произнёс «ребёнка», все невольно оглянулись на деда Алёху с девочкой на руках, разглядели впервой спасёнку – она была мала, худа, слабо дышала. Бабы, почувяв необычное, грудились неподалёку, ждали, когда мужики начнут расходиться.

– Золото припрячь, мало ль чего.

– Сдать, что ль есаулу?

– Сказал тоже! Припрячь и всё!

– Приданое невесте будет! – съехидничал Егор, но никто не подхватил его смешок. На том и порешили. Усталые рыбаки разбредались по домам невесёлые: и рыбы мало, всего несколько осетров, и татар не углядели, а за дозор их и терпят здесь, и незнамо кого приволокли. Кабы беды не вышло! Тут их стали цеплять жёнки, дети. Старые, что сидели на завалинках, вставали, кланялись. И им дадут долю, вдовам да старым. Вечерело, зазвенели подойники, зазывали матери детей-пострелёнышей домой.

За Петром увязались несколько человек, больно занятно было посмотреть, как встретит Марья мужа с подарком. А Марья никогда не ходила на привоз, только дома за порогом обнимала горячо мужа: боялась ли на людях осрамиться такой несдержанностью? А тут, будто чуяла, выскочила из хаты, так и встала, как вкопанная: перед ней виновато стоял муж родной с живой ношей. За ним толпились выжидательно соседи. Марья, не моргнув глазом, степенно сошла с порога, поклонилась низко в пояс, распевно низким голосом сказала:

– Здравствуй, муж! С возвращеньцем! Выглядываем аж с утра, банька истоплена, мать в гостях дожидается.

И повела муженька домой. Постояли ещё под окном любопытные – тишина, ни крика, не шума. Вот те Марья-крикунья! Как воды в рот набрала. Неужто приняла найдёныша?

Пётр положил на лавку девочку, огляделся – прибрано, на столе ужин, мать-старуха смотрит молча из угла, Ванятки, сына, не видно. И Марья смотрит тяжело, покусывает пухлые губы. Лучше бы кричала. Не обняла, не суетится от радости, как всегда бывало, а молчит. Мать боится невестки до одури, тоже молчит. Ушёл в баню, видел – из-за плетня глазают ещё. Молодец Марья, утёрла всем нос: в пояс поклонилась! Когда ж такое бывало!

– Батя! – налетел сын, – я не поспел к рыбе, за коровой ходил в займище.

Подрос Ванятка, волосы выбелились от солнца, глазами в мать – глубокие, синие. Покойница Наталья была синеглазая.

– Батя! А много наловили? А татар видели? А припоздали чего? – вопросы летят, как птички, голос то басит, то звенит – стал ломаться, взрослеет сын!

– Расскажу потом, жди меня!

Сын в хату не торопится, тоже мачехи боится, лишний раз на глаза не попадается.

Станица Крутой Яр кормилась Волгой. Жили здесь казаки, считались на государственной службе. Давно беглые лихие люди облюбовали высокий берег для временного пристанища, да обжились. Тайком пробираясь в родные сёла, приводили жён да невест. Оглядываясь, осторожничая, сначала чувствовали себя гостями на богатой земле. Да и время такое – вокруг татарва, чуть ли не страшнее басурман свои – злыдни-хозяева да царёвы приспешники, лютующие по городам

и сёлам. Не от хорошей жизни бросались в бега землепашцы. Стали «ловцами», вольными рыбаками. Забегали детки, заровнялась улица между плетнями, многолетней чешуей покрылся берег, капустные ряды тянулись по задкам дворов. По весне сады наливались цветом, а потом вплоть до холодов радовали детвору сочными плодами. Хлеба сеяли мало, не родился он тут, приспособились выменивать на красную рыбу в других городищах. Но опасно было пускаться в дальнюю дорогу, поэтому часто сидели без хлеба, на одной рыбе. Но тут разыскали их царские слуги, гнать не стали, обещали хлеба за службу. Приехал есаул, поставили ему избу. Надо было следить за татарами, по надобности идти в поход на них. Так вольница стала станицей.

Кое-где сохранились времянки – обмазанные глиной стены из плетня, наполовину врытые в землю, с плоской крышей. Теперь туда загоняют на отёл коров или держат птицу, а дома уже строят высокие, деревянные, с печью. Леса своего строевого нет, срубы по реке сплавляют от верха, возни много, но какие избы встали улицей!

Старожилы вспоминали мор, когда слегли и не встали малые, в каждой семье оплакивали детей. Вспоминали лютую зиму, когда спаслись, набившись в избы по несколько семей, под горою снега, рассказывали, как прорывали ходы, чтобы выйти к реке и за дровами в лесок. А как заводили коров, лелея каждого телёнка пуще, чем собственное дитя! Это сейчас спокойно пасётся целое стадо круторогих ведерниц, а то-

гда носили траву в дерюге, боялись, что волки задерут, или убежит неразумная скотина. Лошадей добыли скоро, говорят старики, иногда пробегали целые табуны, лишившиеся в боях хозяев. Их выслеживали, устраивали загоны, заново приручали к седлу или к телеге. Позже заблеяли овцы, тоже добыча ночных походов. Несколько кур и петушок, кем-то принесенные из первых поселенцев, дали потомство, сегодня уже неисчислимое: в каждом дворе кудахтали и копошились глупые птицы. А вот гуси, по решению общины, привезённые из соседнего городка в обмен на краснорыбицу, не прижились, хотя река была рядом.

Глава третья

Пока Пётр отсиживался в бане (Марья знала все повадки мужа), та решала, что делать с найдёнышем. Несдержанная порой до грубости, Марья быстро вспыхивала, не даром её за глаза называли кипятком, за словом в карман никогда не лезла. Притихшая свекровь завозилась в углу:

– Живая? Помрёт, и в землю не закопаешь, у них, говорят, в степи бросают...

– Накаркаете! – Но страх перекрыл гнев, и женщина осторожно подошла к девочке, наклонилась и облегченно вздохнула. – Дышит!

Марья, если принимала какое-то решение, то действовала мгновенно. И тут она рванулась к корчажке с водой, не думая, плеснула в лицо басурманке. Та сразу встрепенулась, закрылась рукавом.

– Вот и умылась с дороги! – ловкими руками Марья приподняла девочку, усаживая её на лавку. Увидев потрескавшиеся губы, опухшее лицо, задохнулась от острой жалости: дитё малое, хоть басурманское, обожжённое солнцем.

– На те водицу, попей... Пей! – ткнула корчажку к губам. Благодарно блеснули глаза на грязном лице. Вода потекла по подбородку – девочка даже глотнуть даже не смогла. Мария забрала посуду назад, бросила в сердцах обратно в деревян-

ное ведро. Помыть бы, вся в песке, да боязно – тело горит, пышет жаром. Всё ж стала раздевать, прикрикнула на старуху:

– Да помогите же! Не видите, не управляюсь.

Стали в четыре руки разбирать одёжку. Сначала сняли все золото. Дивились красоте украшений: узорное, с переплетениями, особенно удивительными были тяжелые браслеты с рук. Бабка завязала богатство в платок, сунула узелок снохе, словно страшась такого богатства. А той, что золото, что камушек, лишь бы с глаз долой, сунула узелок в запечье.

– Портки какие, шелковые да в полосочку, – удивлялась старуха. Сняли безрукавку, тяжелую от всяких золотых и серебряных украшений по краям. С платьем повозились, девочка ныла от каждого прикосновения. Но сняли и платье, под ним было исподнее, вроде рубахи, серое, тонкого полотна.

– А говорили, как нелюди ходють, не моются и белье не носят, а тут тельце белое, худущая!

И вправду, девочка оказалась до того худа, что косточки просвечивали, а телом была не чернява, а бела. Обмыли кое-как тёплой тряпочкой, завернули в старый сарафан.

– Молочка ей надо, молочко силу дает, – шамкала све-кровь.

Дали молока, уговаривать не пришлось – так жадно припала к молоку, как теленок к мамке.

– Воду не стала, а молоко-то пьёт, – бурчала хозяйка. –

Пей, пей, своё молочко, не жалко! А твои нас пожалеют?

Мужики давно стояли за дверью, ждали, когда можно будет войти. К Петру заглянул в баньку Василий, беспокоился о находке, он и шепнул там:

– На меня кивай, мол, Василий заставил взять. Есаулу об-сказал, думку думает, пойдет с Маланьей совет держать. Коня, сказал, сплавить надоть, оставлять нельзя, видный конь, но запаленный, в городище продадим. А зря. Здесь бы и не нашли. А там увидят, концы отыщут... А Марье своей скажи, хлеба добавим, пусть оклемается у вас, узнаем, чья будет, ежель мирного татарина, то и отправим домой.

Ладно говорил Василий, но сам не верил ни во что, уже и жалеть начал, что приволок головную боль.

– Небось, обойдётся! – и, махнув рукой, ушел в проулок. «К Петровне ходит, не брешут!» – ухмыльнулся Пётр. Василий долго у одного подола не засиживался, то к одной при-ткнётся, то к другой пойдёт. Бабы даже дрались из-за него. За то уважали ходока, что девушек и замужних обходил стороной, а вдовицам радость полагается, за это не судили. А Петровна, ядрёная, грудастая, кровь с молоком, весёлая до одури, певунья знатная, была, почитай, на десяток лет старше ухажёра.

Ванька сгорал от любопытства, но с вопросами не лез, вытягивал шею и прислушивался к возне в избе. Вошли. Было уже темно, лучину пора зажигать. Молча сели за стол ве-черять. Мария подала отварную рыбу, репку запаренную, в

кринке белело молоко, хлеб чернел горкой да перья лука были сложены на краю стола. Вот и нехитрый ужин семьи. «Даже пирога не напекла!» – с детской обидой подумал Петр. А пирог был, ждала мужа Марья, старалась, капусту молодую притомила да начинила сдобу, но подавать не спешила. И жевали все молча в почти полной темноте. Ваня не сводил глаз с лавки, где лежала девочка. Трудно было что-то разобрать в гряде тряпья, но жгло любопытство. Заметив его вытянутую шею, мачеха вскипела:

– Смотри, смотри, тятка тебе сестрёнку наловил! Басурманку узкоглазую, нехристя! – Смотрела на мужа в упор, будто швыряла в него словами. – Самим исти-пити нечего, двор зарос, мало от двора бегают, в реке живёт, а вон, принёс добычу! Майся тут, жёнка, корми-пои да обстирывай! А придёт орда! Порубят нас зазря за детёныша, убьют почём зря! – и сорвалась на плач, причитая, как по покойнику. Петр спокойный, но если разозлится, то краю нет. Не углядела Марья, когда стал приподниматься муженёк, не видела, пока выла, что кулаки начал сжимать да шею набывчивать. Поздно опомнилась – муж скидывал уж всё со стола, рвался к ней с мутными глазами, достал до волос и давай хлестать её в дикой ярости. Мычал, дыхания не хватало:

– Ты хозяйка?! Попрекать меня, попрекать меня?! Ваньку замучила, мать загоняла, убью!

Ванятка кинулся под руки, отнимает мачеху, и ему перепало, отец двинул так, что отлетел к печке. Опять полез, ви-

сит на руках: «Тять, тять!» Пётр грохнул напоследок, в сердцах, ногой по лавке, ушибся сам, стал отходить. Тяжело дыша, смотрел на жену, валявшуюся на полу с растрепанными волосами, на онемевшую мать, на сына, сжавшего кулаки... Дурь отступала, душно колотилось сердце. Вот так всегда, не помнит себя в ярости. Добро, когда в бою, а дома...

Сел. Марья и выть уже боится, собралась-поднялась, начала убирать посуду и сор с полу. Мать кинулась, зажгла лучину, только сын смотрел прямо на отца, готовый снова повиснуть на руке. Ушёл во двор. Ведь знал, что не примет жёна найдёныша, почему сам назвался в охотники, не понимал. Жалко стало умирающую девочку. Детей своих схороненных вспомнил. Думал, что Марья тоже пожалеет. Живут справно, не голодают, слава Богу. А Маша не злая, он-то знает, боится только показать свою доброту, прячется за грубостью, как за щитом, а ночами, бывает, плачет. «Что с тобой, Машенька?» – спросит, а она в ответ только обнимет горячо, спрячет мокрое лицо у него на груди...

Марья выгребла весь мусор, заново собрала на стол – тут тебе и пироги, и взвар из вишни с мёдом, и крынка неснятого молока. Виноватится Пётр, но виду не подаёт, в избу не спешит. Жена сама вышла к нему, подошла близко, не боится, знает, что уже отошёл, заглянула в глаза:

– Иди за стол, пироги стынут.

Лукавит жёнка, говорит так, будто только пироги из печи вынула, будто не было крика и боя. Уж потом отыграется, ох,

как отыграется! Квасу поднесла:

– Угорел, поди, в бане, жарко натопила, сама помыться не успею уж...

Хитра, хитра женщина, как хочешь обойдёт неласкового мужика. Слышит муж скрытый призыв: проводишь, мол, в тёмную баньку, да спинку потрёшь, и от ласки не уклонишься...

Ночь примирила всех. Сладко уснул Пётр, довольный женой, всхрапывает на убитой подстилке гостя – мать-старуха, Ванятка разметался на постели... Только Марья никак не может успокоиться, у ней думки про завтра. Добро бы только с мужем разбираться, так вся станица ждёт, как обернётся история с неожиданным подарком. Кабы нашенскую приволок, и то легче, что не приняла, вон сколько бобылок, переплавили бы им да не судили – у каждого свой склад. То ведь несхристь в дом принёс! А она маленькая да худушая, да побитая скачкой. И никто не возьмёт некрещёнку. Можно, конечно, покричать у есаула, но увезут тогда в городище, а как по дороге девочка помрёт... Своих четверых отнесла на кладбище, до месяца не доживали, одна только за год переступила, уже ножками пошла, но лихоманка в зиму унесла ребёнка, только колыбелька пустая осталась. На ночь Марья укрыла девочку, и, хоть та пылала жаром, тряпицу мокрую ко лбу приложила, прислушалась, как постанывает во сне басурманка. «Анна! Анна! Анна!» – слышится женщине.

«Может, мать у ней русская, вон, беленькая тельцем ка-

кая, много наших баб за татарами живут, каждый год утаскивают девок...»

Тут и нашла решение Марья – «Скажу, мать у найдёнки русская, крестик при ней нашла, убежала с матерью от татар, да отбилась, или мать померла по дороге». Как она узнала о матери и обо всем прочем, о том уже Марья не думала, заснула сразу, как провалилась в сон.

И приснилось ей детство, смутным облаком – мать родная да она сама, всё идут, идут куда-то, а дойти не могут...

Глава четвертая

Разбудили Мариам петухи. Свет молочным потоком лился через мутное окно, все ещё спали. Странно и страшно было просыпаться среди чужих людей, незнакомых вещей от непонятного крика. Утро в ауле начиналось мычанием коров, ржанием и топотом табуна, щелканьем кнута пастухов. Это были родные привычные звуки, под них больная девочка могла спать ещё долго, пока бабушка не будила. Мариам стала вспоминать события последних дней.

Весь аул тронулся на летние пастбища, джайляу.²⁰ Это был праздник для всех – оставляли зимние домики-мазанки, вытопанные на много вёрст вокруг земли. На этот раз их аулу повезло, они пришли на низину, река была недалеко, необъятная степь была полна весеннего сочного цвета.

Мариам пошёл двенадцатый год, хотя на вид она была совсем маленькой. Обучение, прерванное болезнью и зимой, продолжалось: дочери мурзы, как и любой ногайской девушке, надо было знать женские ремесла, секреты готовки, уметь ухаживать за малышами. Акбала ждала любимую всадницу, каждый день Мариам скакала вокруг аула. Произошли события, изменившие жизнь юрта – у мурзы родился сын! Хотя и

²⁰ Джайляу – летнее пастбище

не верили многие, что очередной наследник выживет, но вопреки всем прогнозам, он жил, рос, требуя громким криком молока и заботы. По ору старухи определили – будет жить, станет властелином, батыром. И имя подобрали великое – Юсуф. Бабушка радовалась, но ласковее к снохе не стала. Мариам даже казалось, что бабушка недовольна рождению внука – попрекать килен стало нечем.

Вторым событием стало сватовство к Фатиме. Старый вдовец мангыт²¹ Мансур решил породниться с родом Бекбулата и прислал сватов. Дошли ли до него слухи о чудачествах невесты, или по своей скупости или бедности, подарки для новой родни были скудные, о калыме торговались долго. Наконец, всё было решено, и началась подготовка к свадьбе. Мариам плохо помнила свадьбу старшей сестры Мадины, тогда сторожили маленькую беглянку, не выпускали далеко от юрты, лишь на проводы попала: столько верблюдов, столько нарядных всадников, что степь гудела от крика и топота.

Настала очередь Фатимы. Чтобы поддержать честь рода, Бекбулат выделил целое стадо для забоя. Под навесами множество казанов кипели с верблюжатиной, с бараниной. Из конины за три дня вперёд наделали казы²². Гости из других родов и богатые аульчане сидели в больших юртах и объедались мясом. Другие праздновали на воле, на кошмах²³ за

²¹ Мангыты – один из родов монгольского происхождения

²² казы – традиционная колбаса из конины у ряда тюркских народов

²³ кошма – войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти

большим дастарханом²⁴. Отовсюду слышались песни, смех. Брал за душу кабыз²⁵, звонкоголосо разлетаясь по степи. Тогда услышала Мариам легенду о ногайцах, запомнила её на всю жизнь от первого до последнего слова:

Время струилось золотым песком через золотые руки солнца. Замирали перед бесконечностью все желания и страдания. Как большая больная верблюдица, рыдала великая степь по погибшим детям.

Лишь одна живая душа уцелела от огнедышащего пламени судьбы и укрылась под крыльями ночи у подножья съеденной горы, у камней, истолченных в песок, на дне моря, высохшего от великого огня. Это был мальчик, не ставший воином, не обагривший руки в крови, не успевший выпить из кубка страстей, тёплый комочек человеческой плоти. И уготована ему была участь остаться у края бездны, чтобы запомнить гибель рода, а потом и самому истлеть от одиночества.

Выла синяя небесная волчица по щенятам, выхваченным в бурю от сосцов и брошенных в пучину, выла мать-волчица по прошлому и по будущему...

И сошлись два горя в утешении – нашла мать-волчица дитя человеческой утробы, а сирота племени людского – звериную любовь и заботу. В центре выжженной земли по капле

²⁴ дастархан – скатерть.

²⁵ кабыз – струнный смычковый музыкальный инструмент

сладкого молока выживала кровь, росла сила, сохранялась любовь. Горячие ветры сушили горе, нежная луна грела в холода, а тёплый снег поил жажду. И увидело однажды беспощадное солнце, что не высохло семя, должное исчезнуть, что выросло дерево на песке пустыни, и взяло назад свой гнев, стало равнодушно поднимать и опускать взор над жерновами времени, сеющего песок из бывших гор.

И народились от крылатой синей волчицы и от юного мужчины девять сыновей. Через много лун вышли они из великой пустыни к народам и стали племенем неистребимых батыров, отцами великого ногайского рода.

Отдать дочь мурзы вдовцу, похоронившему уже двух жён, небогатому, неродовитому, было обидно для древнего рода. Но выбирать не приходилось: степь слухами полнится, а про Фатиму знали многое. И не была она красавицей, которой многое простительно. Поэтому и сластили обиду большим тоем, громкими песнями и хорошим приданым.

Даже богатый свадебный убор не мог скрыть неуклюжесть Фатимы в праздничном платье: её тёмное лицо блестело от жира, узкие глаза потуплены вниз – вся в отца, только ровные высокие дуги чёрных бровей – от матери. Этот лучик от красоты матери странным образом придавал девушке милое выражение задора. Мариам подошла к сестре, чтобы проститься перед разлукой, и заплакала, прижавшись к бархату праздничной одежды.

– Ну что ты, сестра, плачешь! За меня не бойся, я там оседлаю и коня, и мужа, – весело шепнула Фатима, и карие глаза её заблестели по-прежнему лукаво под тонким покрывалом.

– Ты красивая сегодня! – ласкалась сестрёнка к невесте.

– Чёрная, как хромая лошадь Даута? – засмеялась Фатима. – Иди, приедешь скоро в гости, посмотришь на красавицу!

И уехал свадебный караван, оставив за собой заплаканных женщин. В куйме дремала спокойная невеста, удивляя своей беспечностью сопровождающих.

Через месяц их пригласили к новым родственникам, прислали богатые подарки. Все изумлялись неожиданной щедрости, а Мариам, вспомнив прощальные слова сестры, про себя смеялась: «Оседлала старика!»

Чтобы не ударить в грязь лицом, собрали сватам достойные подношения: отрезы дорогой ткани, расписную деревянную посуду, оружие, мёд. Аул проснулся затемно. Все разошлись, несмотря на жару, в праздничные тяжёлые наряды. Тщательно одевали Мариам – ещё одну будущую невесту: пусть увидят, что много золота и серебра у рода Бекбулата. Одежда понравилась Мариам, она с удовольствием гладила рукой новый каптал и платье. Неудобно было с украшениями: сережки оказались тяжёлыми и больно оттягивали мочки ушей, браслеты соскальзывали с тонких рук, пришлось их заменить. На головном уборе звенели монетки, нанизан-

ные по краям, на вороте платья блестели нашитые золотые пластинки. Наконец, выехали. Впереди ехали мужчины, маленького Юсуфа вёз в колыбельке за собой сам отец. Мать, похудевшая, по-прежнему привлекательная, ехала недалеко от младшей дочери. Незаметно подъехала к ней, загляделась на тонкую фигурку, на ясные глаза.

– Не устанешь, джаным? – негромко спросила мать.

– Я давно научилась сидеть в седле! – с гордостью ответила дочь.

– Осторожней! Лучше бы на верблюда села, доченька!

Сама Галимэ, ехавшая на верблюде, светилась от счастья: растёт, не болеет горластый Юсуф, долгожданный сын, Мадина благоденствует в Казани. И непослушную Фатиму хорошо устроили, пусть старик, но полюбил доченьку: как богато отдался после свадьбы! И Мариам, её вечное тайное страдание, стала почти невестой, перестала болеть. Вот и едет, качаясь на белой верблюдице, вся во блеске богатства и красоты, счастливая мать. Но не знает, что сказать дочери, не умеет с ней разговаривать.

– Анэ говорит, что нас пригласили в Казань! И меня, может, возьмут! А Вы поедете?

У Галимэ кольнуло сердце, – она не знает новостей про собственную семью, опять от неё всё скрывают, и заметила в который раз, что Мариам её никак не называет, а к бабушке обращается «анэ», называя её матерью при живой матери... Чувство радости и счастья улетучилось сразу. Подкати-

ла обида, змейкой перехватила белую шею, стала душить...
– Хотите урюк? Он такой сладкий! Как наша Фатима из кислого старика такой сладкий урюк выжала? – Мариам подъехала близко к матери, сунула ей в руки тёплую горсть сладости.

И снова засверкало солнце, улыбнулась женщина вниманию дочери, её незаметной ласке. Одно слово «наша» опять тайно сблизило две души. Бабушка издалека ревниво наблюдала за ними. Долго терпеть она не умела, поэтому подозвала одну из женщин из свиты, велела ей передать внучке наказ вернуться на своё место. А сама со злорадством наблюдала, усевшись удобно между мягкими горбами верблюда, как униженно опускает голову нелюбимая сноха. И не заметила, что Мариам на миг коснулась руки матери горячей липкой ладонью, извиняясь за слова бабушки.

Но в девочке тоже бушевали страсти, она любила и бабушку, и мать, ей было невыносимо больно наблюдать вражду между ними. «Всё из-за меня!» – думала несчастная девочка. Откуда ей знать, что свекровь и невестка не уживаются во многих семьях, что такое соперничество ищет внешние причины, чтобы выплеснуться в колкостях, в обидных замечаниях и в злобных взглядах.

Мариам поскакала не к бабушке, а вперёд, поближе к отцу. Но её оттеснили джигиты, и всадница оказалась сбоку от каравана.

Страшно заглядывать в колодец воспоминаний... Поми-

мо воли всплывают крики ужаса, клубы пыли, словно вихрь мчащийся по пустыне, суматоха и плач женщин, страшный клич битвы... Акбала, обезумевшая от криков, понесла всадницу в степь... Мариам, потерявшая голову, подстегивала лошадь, желая убежать подальше от смерти... А потом, одумавшись, девочка пыталась вернуться, гнала и гнала коня вперёд... Очнулась у воды, смутно помнит часы на берегу, лица незнакомых людей... В забытьё ей мерещилось, что она едет, покачиваясь, на верблюде. Потом страх разбудил сознание, и девочка увидела себя среди чужих мужчин, на большой лодке, но ничем не выдала себя, стала наблюдать из-под полузакрытых век за незнакомцами. Со страхом, слушая грубые голоса, она пыталась что-то понять, но ничего не уловила из незнакомого языка. Одно было ясно – убивать её не будут. Недалеко сидел бородатый мужчина, молчаливый, но добрый, как почуяла сердцем Мариам. К нему и потянулась девочка, молила безмолвно, чтобы он защитил её. Это был Пётр. Может, и вправду, он услышал мольбу умирающей девочки, а может, и нет. Но именно он забрал её домой. Успокоившись, Мариам то впадала в забытьё, то вновь приходила в себя. И вот она проснулась в чужом доме с чужими запахами с чужими людьми. Что будет дальше?

Глава пятая

Щедрый август торопил сонное солнышко, выгоняя его на безоблачное небо, как выгоняют пастухи корову на выпас. Сначала разнежено, розово-ало, как молодайка после сладкой ночи, солнце медленно выкатилось из-за бугра, начало округляться и уменьшаться, поднимаясь всё выше и выше, потом оторвалось от матушки-земли и поплыло звонким мячиком по небу, раскаляясь на ходу. Так же и Марья, разошпавшаяся после встречи с мужем, растрёпой походила по избе, но вдруг разом подобралась, взглянув на лавку, где птенчиком свернулась чужая девочка. Подошла, пощупала, жар спал. Выдохнула «Живая!». И забегала, накидывая на крепкое тело затрапезный сарафан, побежала доить Пеструшку, на ходу схватила со стола чашку с водой, плеснула в печь – домового водица. Ставили бабы на ночь воды и хлебца охране дома, чтоб от беды уберегал. Под ровный плеск молока решала, как не осрамиться перед миром, что же делать. Встала довольная – Пеструшка не дёргалась, полный подойник молока дала! – и поплыла павой к крыльцу. На выгоне Марью уже выглядывали соседushки, не торопились бежать по домам.

– С доченькой тебя! – не выдержала криворотая жена Степана Катерина.

– Завидуешь? – одним словом припечатала Марья – года не прошло, как Катеринка дочь схоронила.

– Живая? – с беспокойством спросила подруга сердечная Марфа.

– Что с ней станется, живая, Бог спас! Аней зовут, мать ейная наша, русская, – пропела Марья. Не только для Марфиных ушей, многие услышат, тут же разнесут по селу.

С Марьей редко кто вступал в споры, она могла перекричать любую бабу, при этом могла метко сказать обидное слово, так ловко приплести прозвище, которое потом другие повторяли по любому случаю. Может, кому и хотелось поговорить про найдёнку, но промолчали. Победно вскинув смуглое лицо, Марья вернулась к дому, чтобы покормить семью. Парное молоко и хлеб – вот и завтрак.

Все утро Петр томился в ожидании, он не знал, что и думать: Марыюшка молчала. Ванятка наскоро умылся, глотнул молока и засел за столом, стараясь не показывать своё любопытство. Девочка зашевелилось, застонала.

– А ну, вставай, соня-засоня! – подскочила к лавке хозяйка, – Вставай полегоньку да иди завтракать. Ходить за тобой некому, Аня, неча тут разлёживаться!

Мужчины переглянулись. Свекровь, уже почти переступившая порог (спешила к своему хозяйству), повернулась так резко, что не удержалась и упала.

– Ноги посшибаете, скажут, что Марья перебила! Что уставились? Анна она! Рыбу-то вчера никто не приволок,

опять обошли! Почто на привоз не ходил, неслух? – и понесла-понесла всё, что накопело. Но краем глаза, таки, следила за мужем: как бы ни перехватить лишку. Рывком подняла послушное тело девочки, усадила ловко за стол, почти швырнула перед ней малую чашку с молоком. Девочка боялась поднять глаза, вздрагивала от каждого выкрика Марьи, но чуткое сердце подсказало, что нет злобы в резкой речи. И бабушка всегда ворчала на всех, часто кричала, но была добрее всех на свете. Руки в кровавых мозолях почти не слушались, но Мариам ухватила крепко посуду и отпила молока. Крикливая женщина сунула под нос ей кусок темного хлеба. Кислый запах был незнаком девочке, ногойцы не ели такой хлеб. Но она откусила немного от ломтя, проглотила, не прожевав, и опять припала к молоку.

– Вот те телёнок! – прыснула вдруг Марья. И все разом за столом засмеялись.

Так стала приживаться в чужом доме, в чужом мире Мариам, которую переименовали с лёгкой руки Марьи в Аню. Ох, и непросто было петровой семье, пуще всего от призора станицы, которая глаз не спускала с «родственников». Кабы не слыла Марья «бой-бабой», не уберечься бы им дурной молвы. Перешептывались, в хату к ним, будто бы за огоньком, забегали, в глаза заглядывали, но ничего не угадывали. Марья с криками вела хозяйство, Пётр сроду молчун, по слову жены ходит, только в работе завсегда первый – жаден до труда! Ванятка по хозяйству помощник и мачехе, и бабушке,

да и к соседям всегда бежит по зову, а тут молчит, посмеивается. Не выпытать, что правда, а что Марья приплела! Общй сказ таков: мать найдёнки девкой забрали в плен, стала она женой татарина, родила девочку, а потом сбежала от мужа с приплодом, дорогой умерла.

Верилось, потому как часто, так и выходило – и в плен угоняли, и из плена бежали. Всего раз прошлись по станице татары, но помнят это и рассказывают про жуткий набег через несколько поколений. Двадцать зим назад наскочил отряд татар на малую деревеньку. Мужики, как на беду, ушли в поход за рыбой, – выследили нужное время супостаты. Увели молодых женщин, зашибли насмерть несколько человек, угнали лошадей, домашний скарб не тронули, запалили крайнюю избу, визжали и носились на взмыленных лошадях по улицам. Был среди них толмач, видом русский, он говорил резким голосом не свои слова: «Наша земля, уходите, мы придём – все село сожжём, каждого уведём в плен, идите к царю, пусть он свою землю вам даст! На чужой земле живете, чужую воду пьёте!» Вернулись мужчины, кинулись в погоню, но разве ветер догонишь! Да и далеко ли решились сунуться в страшную степь? Попадались артельщики в походе за рыбой в засады, когда выходили на берег. Почитай, в каждой семье есть увечный, а то вовсе покойник. В лесок далеко не заходили, там тоже иногда пропадали люди, больше неугомонные подростки, не слушающие запреты старших. Более не видели татар у себя, хотя слышали от со-

седей про набег, видели мирных татар в городище. Говорили, что они перешли на службу к царю-батюшке, но разве можно верить слухам!

А как девочка первый раз выглянула на улицу (рядом Ваня идёт, сторожит), чуть ли не полстаницы высыпало посмотреть. Марья никогда ничего зазря не делала: загодя сшила сарафан названной дочери, искупала девчушку, косы заплела и лентой красной перевязала, лапти новые приобула да слух с вечера пустила через подружек и соседей – мол, завтра к бабушке идём конопатить избу, и Анечка попросилась помочь. А живёт свекровь за две улицы, на краю села. И время выбрала – не утро, не вечер, а ясный полдень. Тут ротозеи растарашились, почитай, ощупали глазами-то всю. Девочке сказано было идти ровно, глаз не опускать, улыбаться. Не понимала она ещё языка, поэтому несколько дней Ваня обучал её по приказу мачехи – вот так да этак, без слов. Как она выдержала прогулку, уже никто не расскажет, должно быть, солоно ей пришлось, раз ноги дрожали, ручки вспотели. Но прошлась ровнёхонько, улыбаясь. Во многом уверились односельчане – девочка не темна лицом, кто и конопушки разглядел на ровном носике, карие глаза с прищуром, но не малы, волос тёмный, но не вороной масти, рот немногo большеват для худенького лица, улыбка мила и застенчива. «А брови, а брови-то какие! Глянь-ко!» На бледном лице ласточками летели чёрные брови, оттого и казалась девочка нездешней. А так – не хороша, не плоха, не русская, но не

басурманка, только больно худа, тонка. По-доброму вздохнули бабы: «Тело нагуляет, здорова бы была! Натерпелась, бедняжка! Легко ли мать потерять!» Так и приняли Мариам-Анечку в Крутом Яре.

Были разные догадки, почему крикунья Марья оставила басурманку. Кто шептал, что из-за золота, но кому это золото нужно здесь? Кто думал, что позарилась на хлеб, что обещал есаул. Но хлеба так и не добавили, никто не требовал – ни Пётр, ни Марья. Жалости за Марьей сроду не водилось, пасынка хворостиной лечила от безделья, потому и разговору про жалость не было. За спиной сошлись в одном – Марья нашла работницу: Ваньке воду таскать и за скотиной ходить, а Ане уготован огород да обиход.

Глава шестая

В степи девочек готовят к смирению: часто отдают на сторону, в чужой род, где и речь может быть отлична от родной, обычаи другие, муж и родня часто пеняют, гоняют, припоминая все грехи родственников. А поводов для раздора среди кочевников всегда много: угоняют друг от друга скот, воруют невест, мало ли ещё чего водится за каждым родом. Вот и терпит бедная женщина молча все обиды, работает, не покладая рук, стараясь угодить родичам, рождает детей. Только через много лет истинная ногайка, сохранившая женское достоинство, поднимает голову, начинает руководить семьей, а, бывает, и аулом. Мужчины уходят раньше, они воины, редко кто доживает до глубокой старости, на долю старух выпадает воспитание детей, сохранение обычаев.

Мариам выросла под боком своей бабушки, многое знала из разговоров. Хоть и берегли её, большую младшую дочь мурзы, от обычных занятий девочек, но белоручкой она не была. «С тобой замуж пойду, у порога спать буду, мой птенчик! – часто шутила старуха. – Не прогонишь старую?» Мариам зарывалась в душный мех телогрейки, обнимала бабушку и смеялась счастливо: «Возьму, возьму с собой замуж!»

Вот теперь она вырвана от родного имени-племени, нет

рядом ни отца, ни матери, ни бабушки. А надо жить, надо выживать. И стала Мариам выживать: забыла для начала своё имя, заново родилась для земли и неба. И запретила себе вспоминать родное: от этого болит сердце, и руки опускаются. Стала учиться новому.

Марья поначалу сама не знала, что делать с Анечкой: языка не знает, слабая да худая. Кормила, как попрекала – кинет перед ней репку, кусок хлеба, словно кошке или собаке. Пётр, если был за столом, сразу складывал кулаки на стол и смотрел грозно на жену, та и остывала. Потом стала шептаться с мужем по ночам: «Не слышно ничего? Девка здорова, не болящая боле, ест-пьёт. Отец не нашёлся? Может, кто ищет пропажу?». Пётр молчит себе, вроде спит. Толкнёт его в бок, а он отворачивается.

И ничего не поделаешь! Не принимает сердце басурманку, вроде, жалко девоньку, но глаза бы не видели её. Оттого и шумит Марья куда больше прежнего. Только из гордости при зловках и при соседках хорохорится, рассказывает, что справили ещё один сарафан Анечке.

А тут застудилась сама, под дождём побегала: сено скирдовали, торопились, только наметали, как зарядил дождь. Распаренная, вымокла до нитки, на другой день слегла. Пётр с утра ушёл на лов, последние деньки краснорыбица разгуливает по Волге, артель несколько дней будет ворошить реку. Корову через силу подоила, а погнал Пеструшку в стадо Ваня. Надо бы свекровь позвать помочь по дому, бабуку Со-

ловыху призвать, чтоб полечила травками. Но Ваньки нет дома – на берегу чистят столы, соль перебирают, солому таскают, корыта моют – на днях рыба придёт, все готовятся.

Забылась тяжёлым сном Марья, тело ломит, лежать неудобно. Проснулась от возни, прислушалась: вроде кто-то скребёт печь. Подумала на домового, он любит пошуршать. Но кто-то ходил по хате, мягко ступая по половицам. Кошек в доме не держали, не терпела их Марья. Открыла воспалённые глаза, а над ней стоит Анька, с чашкой.

– На! – Первое слово названной дочери, прежде голоса не слышала. Отпила тёплого молочка. Сладко показалось. С чего бы? Медку, значит, добавила...

Забрала девчушка пустую чашу, тряпочку ко лбу приложила мокрую. Опять провалилась в сон больная женщина. К вечеру открыла глаза, вроде легче стало. Глядь, сидит рядом басурманское дитё, опять с питьём. Отпила, а это взвар грушевый, душистый. Потом под руки Аня вывела её на улицу, сама маленькая, а под руки плечи подставила. Села на завалинке, закатным теплом греется Марья, про корову думает. Анька задевалась куда-то, Ванятка должен прибежать, сказать ему надобно, чтобы телёнка подпустил к Пеструшке, обойдётся сегодня без дойки. На задах калитка хлопнула, шаги чьи-то тяжёлые... Оглянулась и обомлела: несёт Анька полное ведро молока! Пеструшка никого кроме хозяйки не подпускала, была похожа нравом на неё, могла и боднуть, и лягнуть, а молоко даже Марье не всегда сразу отдавала.

А как девчонка полное ведро выдоила? Мало, что выдоила, а пошла процедила, по крынкам разлила, в ледник снесла, что на сливки, а в летнике на столе оставила для еды. Марья, молча, наблюдала, дивясь про себя: «Вот те и тихоня!»

Зашли в обнимку домой. Тут и увидела Марья, что дома все убрано: лавки ровно застелены рядом, по углам выметено, рухлядь сложена в дальнем углу, полы чистые.

Глава седьмая

Марья не слыла неряхой, но особо по дому чистоту наводить не старалась, ничего не валяется, да и ладно! Любила она работу на воле, не хуже мужиков вела покос, копала землю, выходила с мужем на Волгу за рыбой. Крутобёдрая, с широкими плечами, с полными сильными руками неутомимая Марья слыла «работницей». Так уважительно отзывались в селе о самых работающих женщинах. А как наденет яркий сарафан, украсится праздничным платом, глаза тёмные в ободке длинных ресниц опустит вниз, губы свои пухлые распустит маком в лёгкой улыбке – такая красавица! Дивились многие – и не скажешь, что бывает злее кусачей собаки такая красота!

Немногие помнят, что неместная она, пришла с бабкой малой девонькой. Уже не привечали тогда пришлых, как раньше. Люди разные стали ходить, попрошайки всякие, до чужого добра охотники. Кормить – кормили, с собой кой-чего давали и выводили на дорогу: ищите, мол, где лучше. А эти остались, стара да мала, куда им податься... Отвели развалюху-временку, бабы снесли туда кто посуду, кто из одежды что. Бабка Марьяна стала ходить по дворам: помогать по хозяйству бобылям, ребёнка понянчить молодым. Худая, лёгкая на ногу, неслась бабка Лукерья на помощь другим! По-

любили её в станице и за лёгкий нрав, и за весёлый характер: всегда с улыбкой да с шуткой, намяла, видно жизнь сполна, хлебнула горя по полной, оттого и радуется всему: и доброму слову, и корке чёрствого хлеба. И свой огород завела на зависть другим, с утра до ночи с внучкой копошилась на грядках. Только воду далеко было носить, всё одно справлялись. Хатёнку прибрали, побелили, березками вокруг засадили – красота! А Марья росла молчуньей, дети не любили её, за что – непонятно. Пойдут девчонки купаться, увяжется за ними Марья, чернявая, голенастая, а те её закидывают обидными словечками. Мальчишки вовсе кидались колючками репейника, норовили в волосы попасть. Но ни разу не заплакала девочка, отойдёт подальше, уставится чёрными глазами и молчит. Только Марфа жалела соседку, рядом жили, тайком ходила к ней играть. Но и с ней Маша не больно была разговорчива. Бабке Лукерье некогда – всегда при работе, росла девочка сама по себе. И вдруг увидели в селе – красавица вымахала за одну зиму! Зимой-то она вовсе из дому не выходила: обути нечего, одёжи тёплой тоже нет.

Тут и заметил её Пётр. Вдовцом ходил третий год, Наталью свою похоронил. Весной дело было – видит, гоняют мальчишки девчонку по дороге, догоняют и норовят стукнуть по спине, а та уворачивается, дерётся с ними, потом убегает дальше. Добежал до свары, стукнул мальцов, пристыдил:

– Что вы изверги, девчонку бьёте? Али совесть съели, бес-

толочи!

– Она сама дерётся! Смотри, как исцарапала, кошка дра-
ная!

– Цыц отсюда, мошकारа! Ещё увижу, кто её обижает, с яра
скину!

– Пусть сама не дерётся!

Подошёл к девчонке, а та смотрит волчонком, пальцы
крючком – готова вцепиться в любого.

– Ты чья будешь, девонька? Не бойсь, не обижу!

Молчит, платишко старенькое поправляет, ноги босы, а
земля не отошла ещё, холодная.

– Ноги-то отморозишь, где лапти-то растеряла? Ладно, бе-
ги домой скорей!

Убежала. День прошёл, другой, а с головы нейдёт драчу-
нья: чья девочка? Перебрал всех, кого из детей знал, не уга-
дал. А спросить у кого-то стыдно, скажут – выпрашивает,
разговоры пойдут. Потихоньку у матери стал выведывать,
кто так бедно живёт, что и лаптей старых нет, дети босые по
снегу бегают. Старая завелась, три часа молола про кого что
знала или слышала. Ничего не понял Пётр. А тут с утра по-
палась бабка Лукерья на глаза: метёт подолом улицу, несётся
кому-то на помощь. И как стукнуло: внучка у неё есть малая,
не та ль драчунья? Как-то через месяц проходил мимо дво-
ра Лукерьи, заглянул во двор, вроде как водицы попросить
попить. Подивился огороду – все перекопано, грядки уже зе-
ленеют тонкой линией. Выскочила из-под земли девица (ха-

та вполювину под землей!), глаза вылупила, задыхается, дышать не может.

– Здравствуй, хозяйюшка! Водицы испить дай!

Побежала в хату, а Пётр никак сообразить не может: она, не она? Та, вроде, младше была, худа, оборванна, смотрела зверёнышем, чуть ли не кусалась. И сердце тогда зашлось от жалости, всё думал, как помочь бедняжке.

Вышла с водой в ковшике, платком успела укрыть плечи. Платок не новый, но узорный, цветастый, получше старого сарафана. Пил по глоточку, исподтишка оглядывал. Это была та девочка, но куда подевался дикий взгляд? Сейчас смотрит ласково, глаза блестят, скулы высокие в румянце. И повыше будет, и постарше глядит. Поблагодарил и ушёл.

И думать потом о ней забыл. А мать ныла, всё просила и просила взять в дом Маланью, молодую вдову Иванову, что под лёд зимой ушёл. Душа у Петра к ней не лежала, помнил и любил свою Наташеньку, соловушку-певунью. Рано их поженили, детьми почти, три года жили у матери, пока дом не поставили свой. Жили дружно, справно. Ласковая, смешливая, синеокая Наталья была хорошей хозяйкой. Как забудешь такую? Слова громкого друг другу не сказали, а работали вместе как! – люди дивились, как они под стать друг другу подобрались: жёнка стройная, тоненькая, а в работе не уступала мужу. Братья Натальи родней своих стали, а мать сыном называла. А как родился Ванятка – счастливей на белом свете никого не было, наглядеться не могли друг на дру-

га и на сыночка!

Говорят, счастье – что солнышко, улыбнется и скроется. Так и вышло. Ушёл на Волгу с рыбной артелью, весенняя путина самая богатая – рыба сама идёт в руки.

Возвращался довольный – его старшим выбрали с обозом идти, как самого дельного и ловкого. Первый из струга выскочил на берег, искал глазами свою любушку, хотел похвастаться. Тут к нему бабы подбежали, плачут, а Пётр понять ничего не может, оглядывается. Даже когда увидел чёрный обгорелый остов своего дома, и то ничего понять не мог, стоял оглушённый, никого не слышал. Братья обступили, свои и Натальи, что-то говорили, и тех не слышал. Пошёл вокруг угольев, окликая Наталью, кричал-звал во весь голос! Пытались его остановить, завести к матери, но никто совладать с ним не мог, уходил ото всех... Сына принесли, в руки давали – не брал, отталкивал... Мать в ноги валилась, хваталась за кровиночку – убегал от родной, всё ходил-звал Наталью... Водой холодной окатили – на минуту остановился, посмотрел на люд, страшно так посмотрел, и стал у каждого спрашивать: «Где Наташа?» Народ испугался, стал расходиться, а Пётр сел посередь бывшего дома и просидел целую ночь.

На похоронах был тих, даже улыбался, но молчал. Так промолчал месяц. Старший брат, Герасим, забрал Ваньку к себе, Пётр перешел в старую избу матери, жил с младшими братьями бок о бок, те его сторожили, следили, как за малым, боялись, что с собой что-то сотворит. На сына не гля-

дел, отворачивался, даже толкал его зло, с того и убрали Ванятку от отца.

Любая рана рубцуется, заживает, любое горе забывается. Отошёл и Пётр. Первым делом забрал сына к себе, стал растить. Разом братья оженились, в один год свадьбы играли, одну весной, а другую – осенью. Тесно стало в старом доме, отстроили первым молодым хатёнку сообща, все помогали, и свои родные, и соседи. Решил Пётр уйти, младшему оставаться надо при матери. Поговорил с роднёй, поклонился людям, помощи попросил, чтоб малый домик возвести. Только на пепелище не пошёл, ближе к яру выбрал высокое место, подальше ото всех. Домик в три оконца, невысокий, осилили миром в недолгий срок. И стал жить бобылём молодой мужик. А его, статного молодца, работника хорошего, многие старые девы и вдовицы молодые за себя прочили, тропу протоптали вдоль окон, даром, что далеко ходить. И корову ищут у пустого двора, и на речку глядеть идут. То Ванятку понянчить будто забегут, пирожком угостить, то курице голову отрубить просят, за десять дворов за тем идут. Пётр не отказывает: скольких кур жизни решил, один Бог знает... А понахальнее из баб придумали купаться под яром, плещутся, в мокром исподнем бегают. До самых морозов лезли дуры в воду, визжали от холода. А зимой у вдовиц то печь не топится – дымит (печи тоже недавно стали выводить, раньше по-чёрному топили, у кого и до сей поры так водится), то дверь вывалится. И бегут не к соседям, а на

яр, к Петру! И смех, и грех! И то понять можно – трудно бабе одной... А одна окаянная бабёнка при нём в прорубь сиганула, будто поскользнулась. Вытащил, куда ж деваться, а она, синяя от страха и холодной воды, хватается за него, в глаза заглядывает, и тут умудряется силки расставлять. Думала, что поймала, сейчас домой поволокёт, разденет и сушить станет... А Петруша обнял крепко, всю дорогу в лицо дышал, а привёл в избу старому Епифану, тоже бобылю. Та и не разберёт к кому попала, быстрее с себя всё скинула мокрое, голышом встала посередь избы, дрожит, как лист осиновый... А тут борода седая ей в лицо тычется, орёт что-то... Открыла zenки, а это старик толкается, тулупом укрывает. А Петра нет! Так зиму и перезимовала со стариком, болела, он отхаживал... Что меж ними было-не было, про то сказано много по селу, проходу не давали потом.

Ванятка рос улыбчивым, ласковым. Поначалу было больно узнавать синие глаза Натальины, видеть такой же золотой пушок на тельце, как у любимой. Даже вострый носик был у мальчика мамин. И волосом пошёл в мать, только ходил потцовски цепко, был рослым не по возрасту. Потом привык, не сравнивал. Разве что кольнёт в сердце, когда Ванятка бежит к нему навстречу, не чуя ног... Тогда и нахлынет: так неслась когда-то милая Наташа...

Прошло ещё два года, за то время пожила у него одно лето Маланья, уговорила, таки, мать. Маланья вертлявая, бойкая, угодливая во всём, но полюбить он её почему-то не смог. Он

и дома-то почти не был: в то лето сгоняли казаков со всех сторон строить новый сторожевой городок на Волге. Встречала молодница дома, а радости большой не было. И Ванятка гаснуть стал, почти не улыбаётся, худой какой-то, вниз смотрит. Понять никак не мог – с чего ребёнок чахнет? Подумал, что вытягивается, растёт. Раз вернулся по осени домой, поздно уже было, темно, никто на голос не откликнулся. Хотел к матери идти, тут кто-то заворошился на лавке, подошёл, а это Ванятка лежит. А Маланья нет. Обнял сына, а он лёгкий, как птенчик, весь дрожит, уткнулся к нему в плечо горячим носиком и плачет... Еле нашёл огниво, – в печи-то ни уголька!, – высек огонь, огляделся: в избе грязно, холодно, чугунки пустые... Затапил печь, отыскал репы, кинул варить... А сам Ванятку с рук не спускал, согреть будто своим теплом хотел.

Через час прибежала Маланья: узнала, что вернулись станичники. Она у матери своей грелась, бросив пасынка. Так она и прежде делала: уйдет к своим, оставив голодного мальчика одного. Втайне извести хотела неродного, мешал он ей, не нужен был вовсе. Мальчик никому не жалился, даже бабушке ничего не говорил. А ему пятый годок, не умеет готовить: летом на огороде кормился морковкой да капустными листьями, до бабушки редко добежит, та ему пирожок в руки сунет, иногда молочка плеснёт. А смотреть ей за ним некогда, внуки родились от младшего, их стережёт. Другая бабушка померла уже, дядья и тётки далеко живут, у них

полно своих детишек.

Маланья завертелась перед Петром, залопотала что-то... И тут в первый раз накрыло Петра, да так, что себя не помнил: такая ярость в нём клокотала, красным огнём злость закипела! Кабы не убежала Маланья из-под рук, недаром такая юркая, убил бы в горячке. Больше не возвращалась... Потом Егор её взял за себя, с ним и живёт. И решил тогда Петр не брать больше никого, чтобы до худа не дошло.

По весне Пётр стал плотничать. Пошёл по реке лес для городков, и станице перепадало, а с того и дома строить начали многие. Нравился Петру дух лесной, древесный, готов был зарыться в щепу с бородой и дышать дремучим смолистым запахом. Раз стоял Пётр на высоте, видит, девица плывёт, воду несёт, коромысло ходит на плечах... От солнца ли, от работы, но заиграло озорство в мужике, спрыгнул он рысью перед девушкой:

– Дашь напиться?

Та уставилась на него огромными глазами, зарделась маковым цветом:

– Пей, не жалко!

Припал к холодной водице, напился, но ведро отпускать не торопится – узнал внучку Лукерьину.

– Пусти! – слегка повела плечами девушка, а сама улыбается. Косы чёрные по высокой груди вниз бегут, губы припухшие, сочные, как вишенка...

– Как звать-то?

– Марьей.

– Как живёшь? Никто не обижает?

– Пусть кто попробует!

– А замуж за меня пойдёшь?

– Пойду!

– Жди сватов!

Вот и весь разговор. Целый день Пётр был сам не свой, смеялся, удивляя товарищей. Вечером пошёл к брату Герасиму, он за отца был у них, сказал, что жениться собирается. Тот крикнул, припомнил Маланью. Потом спросил, кого наметил в жёны. Узнав про Марью, крикнул в другой раз. Помолчали.

– Тебе жить, Петя, смотри, в другой раз не ошибись.

– Трудно мне одному, брат.

– Говорят, работница она хорошая. Видел, красавица писаная.

– Больно круто замешена, гордая через край, не гляди, что беднячка: в одном сарафане третий год ходит, заплатка на заплате! – тут влезла жена Ивана Татьяна, не утерпела. – За одно слово глаза выцарапает! От капусты пухнет, чужое доедает-донашивает, а сама царицу из себя корчит! Бабка при смерти лежит, какая тут свадьба!

Но Петр никого уже не слушал, уговорил братьев, по-честному пошли сватать Марью. Успели сыграть свадьбу, а тут бабка Лукерья померла, довольная лежала в гробу, улыбалась будто. Было с чего – внучку определила при жизни за

хорошего человека, и ушла, чтобы не мешать молодым.

После свадьбы и узнал Пётр, что полюбила его Марья давно, когда Наталья живая ещё была. А когда он её защитил, то вовсе голову потеряла. И с водой она ходила не зря, просто поначалу он не замечал её, пока не спрыгнул с новых стен прямо к ней под ноги. «Яблочком скатился к ногам!»

Любила Марья пылко, ревнивая была до ужаса, чуть ли не сторожила мужа. Сразу стала хозяйкой, была расторопна, быстра, но не суетлива, как родная бабка. За Ваняткой глядела хорошо, кормила, одевала, но была строга. А строга она была ко всем, требовала порядка, не любила безделья. Завели корову, подняли выше дом, никого не просили, сами управились. Тут она и скинула первый раз, не доносила ребёнка. И потом не приживались детки, одного за другим относили в маленьких гробиках на кладбище. И ранее строптивая, стала Марья вовсе невыносимой. С самого первого дня не ладила она с золовками и невестками. Это были те девочки, что гоняли её от себя в детстве. Не любила она тех баб, кто заглядывался ранее на её мужа, а таких, почитай, полсела. Вот и выйди замуж за красавца! Терпеть не могла почему-то соседок, хорошо, что на отшибе жили, иначе бы извела всех ближних. Не понимал её порой Пётр, злился, стыдился. Но любил свою нравную жену, жалел её. Любил её в минуты тишины, тогда она была такая тёплая, домашняя, ровная. С возрастом Марья налилась телом, стала ещё краше, ярче. Только страдала, не выдавая себя, о малышах...

Глава восьмая

Время было смутное, шаткое, веры никому не было. Стали чуть лучше жить, добро копить, на земле приживаться, так сразу царёвы слуги объявились. Доглядники Наума есаулом прислали, с ним пришёл урядник Василий. Трудно привыкали к новому ловцы, если бы не страх, чтоб сгонят с земли, то не стали бы казаками. Что и для чего, на то ответа у самого Наума не получишь. Одно гаркнет «Царёва воля!». И никуда не денешься. В леса уйти, и там найдут. А тут пригодно и сытно. Левый берег Волги заливает на много верст весной, море цельное, а здесь, на яру, спокойнее. Позади лес, не такой густой и большой, как на Руси, но все ж подкармливает ягодой, греет – дрова оттуда. И татары больше за Волгой водятся, им степь нужна. Говорят, гонят их, в корень изведут скоро. И того страшно: тогда, может, хозяева прежние придут, назад под ярмо поведут. Это молодым не понять, что на свободе родились и выросли, а старики помнят бояр, рассказывают про неволю, но не слушает молодёжь эти басни. Им бы только от басурман отгородиться, а про другое и думок нет. И по станице делёж пошёл – кто побогаче, кто бедней. Покуда мир стариков слушает – беды не жди, всё по правде судится. А дальше что?

Пришла весть о Казани. Есаул собрал казаков и объявил

о победе царя-батюшки. Так и сказал:

– С Божьей помощью царь-батюшка разгромил Казанское царство.

Все дружно лбы перекрестили, переминаются с ноги на ногу, ждут, что далее скажет: не зря ж согноли в горячую пору. А о Казани знали раньше, на сенокос ещё не пошли, как с обозом пришла весть о победе. Много говорили промеж собой: не знаешь, как обернётся, чего теперь ждать. Может, уведут всех в Казань, басурман толочь, веру наводить.

А какие они казаки – два раза в поход выходили, кругом обошли степь и пришли назад. Как засеки ставить или городки строить, так сразу к ним, отрывают от Волги, от работы, от семьи... А ранее как было! Сам себе хозяин! Так стояли старые, а молодые галдели радостно, им тесно сидеть за стенами, хочется погулять. Вон, двое таких мальцов оторвались от обоза, в стрелыцы подались: посулили им одежду красную, службу славную, деньги золотую. Знают старые, где много посула, там нет проку, ведь недаром говорят: посулил боярин шубу, да не дал: ин слово его тепло. Помнили старики ласку боярскую...

Есаул не говорлив, косноязычен, порой и не поймёшь, чего хочет сказать. Порублен насквозь, с того и медлителен. На коне – молодец, а как на землю ступит, так и смотреть на него тягостно. Другое дело Василий: орлом глядит, на коне – птицей летит, запоёт – душа обрывается... И говорит толково, дельно. За ним и шли. А есаул так себе, саблей только

гребит. Его по имени никто не звал.

А есаулу самому тошно среди ловцов. Какие они казаки? Смех один! Им бы только с бабами возиться да рыбу ловить. Сказано было: коня держать для службы, не для работы, а они их в обозы ставят, телегой загоняют. Ни оружия толкового, ни коня... Одно слово – ловцы! Но стареет есаул, нашёл здесь свой угол, женился, детвора народилась. Просит мир церковь поставить, дело ли – везут попа из-за лесу, в один день отпевают, крестят и венчают, покуда он здесь. Раньше бы махнул рукой, не стал бы даже слушать, а теперь понимает: своих малых окрестить надо.

– Такое дело, казаки: идти нам в поход.

– Кому идти? На кого? Когда?

– Воевать будем.

– Да ты толком скажи – кому идти, когда?

Выскочил Василий, ясноглазый, волос золотой, кудрявый, борода пушистая. Недаром, бабы его так любят, такого ладного.

– Казаки! Был такой приказ – готовиться к походу на Астрахань. Я с охотниками поеду в городок, там нам объявят, когда, кому идти. Коней освободите от работ, подкормите. В Астрахани татар тьма-тьмушая, если они на нас навалятся – как песком засыпят, никого тут не останется. Потому решил царь-батюшка гнездо ихнее разорить, как Казань разорил. Вы думаете – тут воля вольная, хлеб задаром дают, лови себе рыбу да бабу по ночам тискай? Покуда не сгоним всех

басурман – нет вам никакой воли, и покоя нет! Хотите, чтобы ваших жён и детушек на аркане увели в чужую землю? Вы здесь в углу сидите сиднем и не знаете, сколько христиан мается в плену! Пальцы рубят, носы, уши режут, чтобы знак свой показать, измываются как над скотиной... Видел я убегших из плена, сердце кровью обливается, как их слушаешь. Да что я говорю? Сами все знаете. Кто охотник со мной в городок пойти?

Вызвались на такое дело пятеро мужиков, но Василий выделил Степана, Петра, его младшего брата Семёна. С одной семьи брать сразу двоих не положено, но они сами вызвались, потому и взял. Не на войну идут, можно.

– А когда же церковь ставим будем? Обговорено же было!

Опять заместо есаула подскочил Василий:

– Мы и про думаем, не забыли. Только вот что: зарится на ваш промысел монастырь. Спасибо скажите, что в казаки взяли, иначе быть вам монастырскими.

На том и разошлись. После бабы стали рядить новый указ, свой сход бабий у берега собрался. Известно дело – рыбаки за рыбой ходят, а бабы рыбу обиходят. Крупную солили сразу под корень, какую – льдом из ледника заваливали, какую – коптили. Визигу добывали из стерляди сушить, а саму рыбу разделявали на посол. Такую работу женщинам не доверяли, сами возились. Остальную рыбу – с воз! – бабам. Детки помогали: мальчишки плели из ивовых веток корзинки глубокие, в них кидались рыба, что держали в воде живую.

Солили воблю в корытах, потом нанизывали её на прутики и сушили. Клей вываривался тут же на берегу. Жир из сельди и внутренности крупной рыбы собирали девочки, тут же в котле топили и переливали в крынки. За длинным столом стояли женщины, чистили и потрошили леща, щуку, краснопёрку, жереха, судака.

Каждому находилась работа: кто убирает отходы, кто распутывает снасти... Всё чаще мужиков отрывать стали от реки, вот опять: после схода пошли лошадей собирать.

– И что ж теперь будет? Ни коней, не мужей, сами в реку полезем? – начала разговор Марфа.

– Ты погоди, пока никто не ушёл, может, отменят указ-то. И здесь кордон нужен! – подхватила разговор осторожная Катеринка. Она была самая спокойная из баб.

– А мы поглядим: одних в поход сошлют, а кто и здесь останется! – это Степанида, родня Марьи. Злится, что её Семён вызвался с Василием идти. Она на сносях, скоро рожать, а муж убегает из дому.

– А ты Маланью попроси, она Семёна вызволит, к твоей юбке приставит! – голос Марьи невысок, звучен, говорит, как песню поёт, но столько яда в сладкой речи.

– У кого это я просить буду за Семёна? У Бога, что ль? – Маланья почти орёт, перекрывая бабьи смешки.

– Сама знаешь у кого, не мне указывать. – спокойно отвечает Марья. Она чистит рыбу одним взмахом, чешуя так и летит монетами из-под рук.

– Нет, ты скажи, отчаваю ли я за казаков решаю? – Маланья глупа, лучше бы промолчала.

– Кабы я, как ты, есаулу бока грела, то я бы указы чинила!

– Ах, ты стерва! Это ты за Петю наговариваешь, никак не забудешь, что я с ним спала-жила? Он-то помнит, поди, как любили жарко! Кабы не его мать, так и жили бы! – Маланья знает, какое больное место у Марьи.

– Господи! Нашла чем хвалиться! Да тебя сорок мужиков по селу знает и помнит, как жарко любишься! Один утоп с горя за твою голову! – Марья пока только распалается, это только начало. Бабы про рыбу забыли, рты разинули, ждут, что будет дальше. Марья тоже отставила работу:

– Мать вас развела! Дитя чуть с голоду не уморила, по дворам шалалась, хвостом вертела, с того и полетела!

– А ты лучше?! Ты ли Ваньке мамкой стала? Хворостина его мамка, живого места на сиротинке нет, знают все про твою заботу!

– Тебе и гонять некого, сказывала Соловьяха, как ты в девках нагуленного изводила, чуть не сдохла от потравы! С того и детей тебе всей ватагой мужики наделать не могут!

– От твоей злобы дети твои в пузе ядом травятся! Скажешь, неправда?

– Укороти язык, пока не отрезала вот этим ножом!

Хорошо, что стояли врозь на разных углах стола, иначе достала бы Марья за такие слова ножом Маланью. Та не унижалась:

– Бог своих не даёт, так нехристя приняла! Сама басурманка, вот те и чёртово отродье в дом!

Вот это уже стерпеть Марья не могла, пошла в обход стола к обидчице с ножом в руках. А та и ждать не стала, с визгом полетела по берегу, орала:

– Спасите, режут!

На берегу свалены снасти, мережи, всякое рыбацкое барахло. Вот и наступила босыми ногами на старые весла Маланья, споткнулась и полетела, легла носом в песок, подол задрался, срам весь открылся народу. Встать не может, запуталась руками в обрывках сети, барахтается. Марья и бегать за обидчицей не думала, упёрлась руками в бока, и давай со всеми вместе хохотать над Маланьей.

– Есаула зовите, скажите, Маланья ждёт готовая, раздевать не надо, только от песка отряхнуть. – И добавила два слова, одно из которых стало навсегда прозвищем Маланьи. – Береговая....

По старости Маланья даже откликаться стала на «береговую» ... Вот так закончился бабий сход.

Глава девятая

Среди детворы на берегу была и Анюта-басурманка. Подружка у неё завелась, Настёнка, заходила к ним домой, звала играть. Анька улыбается, кивает головой, но не идёт. А тут и спрашивать Настенька не стала, взяла за руку и повела к берегу. Затерялась среди ребятни новенькая: в платочке, в сарафанчике, помогает старшим. Запах рыбный для девочки дурной, но терпит, старается. Когда схватились Марья с Маланьей, она неподалёку была, понимать не понимала, но смотрела во все глаза. И когда полетела худая злая Маланья по берегу и упала, то такой смех на неё напал, что остановиться не могла. Босая, с грязными руками Аня впервые причастилась счастливым смехом к новой жизни: к тревожному запаху реки, к слепящей водной глади, переходящей в небо и восходящей до самого солнца, золотому теплему песку под ногами, к весёлым голосам ранее чужих людей.

К осени Аня кое-как различала слова, а где не поймёт, там догадается. Ваня учил её: «трава», а она – «тиава», он – «курица», а она – «кулити», он «догоняй!», а Аня – «дагани!». Как малое дитё! А она стесняется: в степи девочки даже с братьями не разговаривают, стыдно с мальчиками общаться, имена отцов и братьев нельзя вслух говорить, тоже стыдно. Поэтому радуется подружке Настеньке, бежит за ней повсюду.

ду, схватывает слова, повторяет про себя.

Марье грех жаловаться: по дому девка помогает, по огороду ползает, траву выбирает, смышленная, а всё одно душа к ней не лежит. Да одеть-обуть к зиме надо, помнит по себе, как это — до весны из дома не выходить.

Василий с охотниками вернулся скоренько: никуда казаков не послали, по весне будут собирать поход. Ватага готовится к осенней путине, чистят ледники под зиму, бьют новые корыта, сараи пристраивают на берегу. А себе сено завезти надо, скоро дожди, а хлев утеплить надо — Пеструшка стельная... Нет мужика дома! Спасибо, что ночевать домой ходит! Марья бушует с обиды: овец стричь надо, чистить овчарню, бочки для засола прохудились, а муженёк где-то от двора бегают. Хорошо, что Ваня слушается, под рукой всегда. Наладила детей в лес отсылать за грибами днём, вон столько их носят из лесу.

Аня никогда не была в лесу, ходила несколько раз с Фатимой в заросли тамариска, и там всего боялась. Степь ровная, на десятки верст виден каждый бугор, тропки разбегаются, как нитки от разодранного клубка пряжи, прячутся под кочками юркие ящерицы, выползают змеи, похожие на камчу, на солнце... Бежит-переливается ковыль, и душа летит вдаль...

Здесь лес редкий, неширокий. Вдоль Волги толпились сосенки, а дальше шёл чистый молодой березняк. Дети с радостью бежали за грибами, аукаясь и перекликаясь, уходили вглубь. Ванятка любил, как и отец, лесной дух, любил дере-

вья. Он и думать забыл про названную сестрицу, заскочил сам в лесок и пропал. А Аня боится идти дальше, пугает её сумрак, звуки, густая трава под ногами. Чуть прошла подальше, как наверху что-то застрекотало-зашумело! Испуганная девочка метнулась назад, села на корточки и зарыдала. Тут и напала на неё дикая тоска, скрутила все жилочки её маленького тельца... И только здесь, на краю страшного леса Аня поняла, что никогда не увидит бабушку, мать, отца, никогда не обнимет своих родных... Всё, что упорно закрывала от себя самой, вдруг вырвалось в горестном плаче. Как воют щенята по убитой матери волчице, так и Мариам завывала тоненько и визгливо...

Очнулась оттого, что кто-то поднимал её с земли и кричал в лицо: «Замолчи, Аня!» Приходя в себя, вдруг увидела синие испуганные Ванины глаза. Холщовая вытертая рубашка болталась на худом теле, белые брови поднялись домиком под загорелым высоким лбом, но стоял он, крепко расставив ноги, готовый ринуться на каждого, кто обидит Аню. И она уткнулась головой неловко ему под правое плечо, изредка вздрагивая от всхлипываний.

– Полно тебе, Анюта, полно! Чего испугалась, леса испугалась?

– Да!

– Не бойсь, Аня, в лесу не страшно, я больше тебя не брошу одну.

– Да.

– Пойдёшь со мною, не забоишься?

– Да!

– Заладила – да-да. Пошли, кукушка! – засмеялся Вася, а сам сдвинуться с места не мог: ноги, будто, приросли к земле. И Аня застыла, вдыхая незнакомый запах крепкого мальчишеского тела, и стало ей спокойно. С той минуты она знала, что нашла надёжную защиту. Постояли немного, а потом смущённо отодвинулись друг от друга.

– Ладно, сиди тут, никуда не уходи, я сейчас грибов наберу и вернусь. – Ваня дополнил движением рук свое предложение.

– Да! Да! – радостно закивала Аня.

Потом уж, с другого дня, начал Ваня потихоньку приучать Аню к лесу, учить её не бояться звуков, не теряться среди деревьев, находить грибы. Даже полынь однажды нашли среди трав, Анечка тогда так обрадовалась, смеялась, счастливая, словно родню встретила.

А когда лес загорелся осенним цветом, то сама Аня бежала туда полюбоваться на небывалый золотой свет. Как замороженная стояла девочка, вглядываясь в переливы яркого разноцветья.

Завелись кроме Настеньки подружки, вместе ходили собирать грибы, помогать взрослым, а вечерами играли в прятки. Иногда вместо Марьи она доила Пеструшку, это доставляло ей большое удовольствие. Забываясь под плеск молока, она переносилась в родной аул, но от прежней боли ничего

не осталось, хотелось только знать: живы ли дорогие ей люди.

Уже не тошнило её от рыбного духа, она научилась жевать кислый тёмный хлеб, есть капусту, репу. Грибы она любила, хотя это была тоже непривычная пища. Навсегда со словом «лес», «грибы» связана была память сердца – тонкое мальчишеское плечо, готовое укрыть её от всех бед.

Глава десятая

На Покрова освятили небольшую церковь. Батюшка приехал с семьёй, он был свойский, раньше часто бывал в Крутом яре. Всем радость, а одной Марье – беда. Соврала она, что девочка крещённая, что крестик при ней нашла. Забыли все про то, а Марья маялась. Хотела сама крест Ане повесить, потом очнулась: нельзя, грех такой! Собиралась пойти тайком к попу, чтобы посоветоваться, открыться, а всё не решалась. Как назло, никто не объявлялся, не искал басурманку, видать, навсегда она останется здесь.

Анька пришлась по сердцу многим своей милой застенчивостью, открытой улыбкой, трудолюбием. Жалели её даже самые жестокосердные бабы: сирота, на руках у злючки Марьи – кому такое пожелаешь?

Девочка ещё не могла связно разговаривать, поэтому её никто о прошлом не пытал. В зиму затих Крутой яр, затаились под снегами. Жизнь копошилась в избах, в хлевах, топтали ловцы реку, искали подо льдом шуку. Мальчишки не боялись мороза, ходили кататься с яра на санях. Ваня вырос за лето, овчинный тулупчик был уже мал, но новый справлять не стали, достали старый кожух Семёна, младшего дяди, почти впору пришёлся.

Катанки Ане принесла жена старшего брата Герасима,

ненавистная Марье Татьяна. Как ни хотела принимать Марья подачку, а пришлось – обувки тёплой у Ани не было. А шубёнку старую не взяла, сами, мол, справили. Пеняла Марьюшка всю зиму за те валенки всех, особенно Аню, будто та виновата, что обула её Татьяна-вражина. Однажды, разозлившись в другой раз на вечно убегающего на реку мужа, выкинула катанки на улицу, при этом кляла всех его родных, не жалея слов. Ваня принёс назад и сунул их на печку.

В детстве много болевшая, Аня не помнила зим, она почти никогда не выходила на улицу. Зимовали ногайцы в ма-занках, саманных домах. Полы были устланы тёмными кош-мами, стелился невысокий деревянный настил – тактанбит – на дальней половине помещения. Очаг располагался посере-дине, топили по-чёрному. Бабушка укутывала внучку в шер-стяные одеяла, берегла её от стужи. Заставляла пить горячее молоко с растопленным маслом.

То ли выросла Аня и окрепла, то ли оттого, что её никто не нежил, но за всю крутоярскую зиму ни разу она не заболе-ла. Не поверила бы любимая анэ, что её разнесчастная боль-ная внучка выходит на крепкий мороз и играет в снегу! Хо-дила Аня в лес вместе с Васей, тащили они на санях оттуда хворост.

Зимний лес ей нравился, она проваливалась по пояс в су-гробах, но всё равно шла к сказочно мохнатым деревьям. Иногда Ваня катал её на санях, но девочка стеснялась это-го. Но выйти на лёд, оказалось, заставить её невозможно. Ре-

ка ухала, молнией разбегались швы во все стороны по зеркальной глади. А когда засыпал снег всю Волгу, сравнив её с дальними полями в одно бескрайнее белое море, Аня часто выходила смотреть с берега это ровное белое поле, слепившее глаза.

Пётр, водворив в свою семью найдёнку, казалось, больше не заботился о ней. По горячим словам, Марьи выходило, что муж навязал ей нехристь, а сам в ус не дует. Но Пётр не был таким бездушным, его всё чаще раздражала бессердечность жены, поэтому он уходил из дому, отпрашивался в дальние поездки. Ваня рассказывал ему про успехи Ани, когда они возились с отцом по хозяйству, заступался за мачеху, говоря, что она не сильно притесняет сестрицу.

Так прошла зима, первая из русских зим для ногайской девочки Мариам, принявшей новое имя Аня.

Весна пришла бурная, быстрая, смела снег отовсюду, только лёд задержался на реке. Рыбаки маялись на берегу: на лёд не выйти – провалишься! Подъели весь хлеб, засол капустный и грибной, рыбу, мороженную оттаивали, ели солонину. Иногда курицу на лапшу рубили. На мясоед стали овечек резать. Праздновал народ, жгли куклу тряпичную – зиму-зимушку, катали колесо огненное. И накликали весну, задобрили солнышко! И Волга грохотом и треском объявила о своей свободе, понеслась гнать глыбы льда от себя. Несколько ночей Анечка спать не могла от треска и шума, засыпала на минуты, и сны в это время снились ей ужасные.

Чаще всего несла её лошадь от страшной битвы в неведомую даль, опять кричала «Анэ!» несчастная девочка, опять падала она с высоты на кровавую траву...

Но затихла взбунтовавшаяся река, задышала свежестью на всю округу. Отощавшая скотина рвалась на первую травку: детвора стала пасти овечек на лугу, коровы пошли в стада, телят привязывали к колышкам. Пеструшка отелилась зимой, пёстренькая Рябина паслась у дома. Вынесли из дома на солнышко домашнее тряпье, сушили и выветривали. Бабы стирку большую затеяли, носили полоскать на реку. Убились и дома, и во дворе, готовились к пасхе. Праздничное оживление захватило всех, старухи выбрались на белый свет, стали копошиться на огородах. Мужики пропадали с утра на Волге, благо, за рыбой не надо весной ходить далеко, она шла косяком. Лёд запасён в ледниках, соль завезена с осени, возы готовы для поклажи. Торопились, боялись приказа. Гаркнет есаул Наум «Идти в поход!», и пропала тогда вся рыбалка. Но молчал есаул, и казаки успокоились.

Все веселятся, одна Марья охает. Поправилась она за зиму, потяжелела, подурнела с лица, чаще уставать стала. Аня первая смекнула – ребёнка она ждёт. Вспомнила мать перед рождением брата Юсуфа, она так же ходила, переваливаясь. Стала жалеть женщину, лезла вперёд делать всю домашнюю работу.

Марья непривычно молчала, затаилась. Лучше бы кричала по-прежнему, как раньше. Аня ничего не знала про не вы-

живших детей, пока кто-то из подружек не поделился с ней. Девочка уже хорошо понимала речь, хотя сама объяснялась с трудом.

Оттого Марья ходила подавленная, что не верила в чудо, заранее прощалась с не родившимся ребёнком. И Пётр, когда сам увидел тяжелую жену (молчала Марья, даже мужу не сказала), тоже впал в тоску. Один Ваня ничего не замечал. Однажды Марья взялась за деревянные ведра, чтобы пойти за водой, а Аня толкнула Ваню: «Возьми, мол, сходи за водой!». Пасынок не торопился помочь мачехе. Тогда Аня глазами указала на живот Марьин. Ванятка всё разом понял, вспыхнул весь, вырвал ведра и убежал за водой. С тех пор оберегали детки Марью от работы. Огород пришлось сажать самим, бабка помогла – указывала, что делать. Корову доила Аня, отгонял Ваня, а Марья бесцельно бродила по дому с опустевшими глазами. Ела она плохо. Однажды ночью Анечка проснулась от стонов. Марья металась на постели, трудно дышала. Пётр с Ваней на ночь ушли на остров, с утра артель готовилась брать сазана. Девочка присела на постели, взяла за голову несчастную женщину, положила её себе на колени, и стала гладить по спутанным волосам, тихонько напевая заунывную песню. Марья подчинилась голосу, затихла. Долго сидела Аня, успокаивая роженицу. Почему-то она не боялась, словно знала весь обряд. Тихонько отойдя от постели, она быстро развела огонь, поставила воду, вытащила из угла старые сарафаны, тряпье. Дождалась, пока женщину опять

скрутит боль, на этот раз держала за руку, шептала ласковые слова на ногойском языке. Когда Марья ещё раз затихла, Аня выскочила из дома и понеслась к бабке Соловьихе. Ждать не стала, пока старуха соберётся, побежала назад.

Вовремя прибежала: Марья выла, выталкивая ребёнка. Аня метнулась к ней под ноги, успела выхватить скользкий комочек, отхватила зубами пуповину, завернула ребенка в тряпье, и тут ребёнок закричал у неё на руках. Как, откуда она знала, что делать при родах, Аня и сама понять не могла. Когда доковыляла Соловьиха, Марья лежала спокойная, послед уже был в лоханке, ребёнок пищал на руках у басурманки.

Дальше пошло как надо. Когда под вечер вернулись мужчины, дома было всё прибрано, Марья тихо лежала под лоскутным одеялом у печки, а в люльке спал запеленатый ребёнок. Пётр замер у двери, он не знал – радоваться или печалиться. А Ваня заулыбался, разглядывая малютку.

– Кто? Мальчик?

– Девочка... – выдохнула Марья.

Ребёнок родился маленький и слабенький, не кричал, много спал. Марья кормила малыша грудью, отворачиваясь от него. Она решила не привязываться к дочери, думая, что и она не выживет, как её братья и сёстры. Покормив малыша, уходила хлопотать по хозяйству.

Теперь Марья делала всю работу, а Аня, как привязанная сидела над люлькой. Нянька укачивала, пеленала, сти-

рала бельё, спала рядом с малышкой, прислушиваясь к её слабому дыханию. Молока у Марьи было много, текло ручьём, но сосала девочка плохо. Мать оттого злилась, а вскоре у неё пропало молоко. Тогда Марья вовсе отставила ребёнка от себя. Казалось, она ждала неизбежного, молча, с видимым безразличием. Пётр уходил из дома, боясь не совладать с собой. Анечка придумала кормить девочку через тряпочку молоком, она помнила: так поступали молодые матери в ауле. Шли дни, а ребёнок и не думал оставлять этот мир, стал улыбаться, гугукать. Наступило лето, днём уже было жарко, Ане иногда выносила младенца на руках на улицу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.